

**Владислав
БРОНЕВСКИЙ**



**ДВА ГОЛОСА, или
ПОМИНОВЕНИЕ**

**Поэзия
Проза**

Владислав Броневский

Два голоса, или поминовение

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3373875

Два голоса, или Поминовение: Поэзия, проза / Пер. с польск.; ред.-сост.

А. Базилевский; предисл. А. Базилевского.: Вахазар, Этерна; Пултуск:

Гуманитарная академия; Москва; 2010

ISBN 978-5-480-00222-5, 978-83-7549-114-2

Аннотация

Избранные произведения Владислава Броневского (1897—1962) – выдающегося польского поэта XX века. Большинство текстов впервые на русском языке.

Содержание

Долг, отданный сполна	17
Поэзия	24
•••	25
Революция	27
Карманьола «Хиены»	41
Поэты	43
Война	43
Прощание с Европой	44
Негероическая песнь	46
Ветряные мельницы	48
Молодость	49
Soldat inconnu[2]	51
Последняя война	52
I	52
II	54
III	56
IV	57
V	57
VI	60
Исповедь	61
Рабочие	62
Демонстрация	64
Иокогама	65

Последний день	66
Бегство	67
Путник	68
Ветряные мельницы	69
Перун	70
Маржана	71
Смерть	72
Тени	73
Я и месяц-оборотень	74
Концерт	74
Дымы над городом	76
Роза	77
На смерть революционера	79
Пионерам	80
К товарищам по оружию	81
Нике	83
I	83
II	84
III	85
Поэзия	86
Песнь о гражданской войне	88
Ноябри	93
Травы	95
О себе самом	97
Шпион	99
Ночной гость	101

Минуты	102
Бесы	103
Серебряное и чёрное	104
Ночью	105
Комета	106
Не пойму	106
Тёмный круг	107
Глаза	108
Гадание	109
Чары	110
Вершина	111
Победа	112
О весне и о смерти	113
О радости	114
Тревога и песнь	116
Элегия на смерть Людвига Варынского	117
Лёгкая атлетика	119
Домбровский бассейн	121
Баллада о Театральной площади	123
Законодателям	128
Лодзь	129
Бакунин	131
Парижская коммуна	134
I	135
II	136
III	137

IV	138
V	139
VI	140
VII	140
VIII	141
IX	142
Рембо	143
Параграф	145
Луна улицы Павьей	148
14 апреля	151
Стихи о ранней весне, написанные поздней осенью	153
I	153
II	155
III	156
Борис Пастернак	157
Каламбуры	158
Промельк тени	159
Звёзды	159
Стихии	160
Возвращение к стиху	161
Тревога и песнь	162
Безработный	163
Полицейские псы в Луцке	164
Товарищу по камере	166
Последний крик	168

Последний крик	169
Друзьям-поэтам	170
Твёрдые руки	171
На смерть Анджея Струга	173
Честь и граната	174
No pasaran![5]	175
Родной город	176
Маннлихер	177
Мои похороны	179
Магнитогорск, или Разговор с Яном	180
Гаврань и Мурань	182
Закат	183
Берёза	183
Скерцо	184
По правде говоря	185
Ночь	186
Улица Милая	187
Поэт и трезвые	189
Бар «Под Дохлым Псом»	191
В поезде	194
Примкнуть штыки	196
Примкнуть штыки!	197
Польский солдат	198
Письмо из тюрьмы	199
Разговор с Историей	200
Каштан	201

Дорога	204
Метель	205
Не важно	206
Что мне тревоги	207
Мавзолей Тамерлана	208
Персия	210
Дамаск	211
У рек Вавилонских	212
Когда я буду умирать	213
Ничего больше	215
Стена Плача	216
Via Dolorosa[8]	217
Роза Сарона	218
Моя комната	220
Советы туристке в Иерусалиме	220
Средиземное море	222
Мазурка Шопена	223
К поэзии	226
Два голоса	227
Польским евреям	228
Сын Польши	229
Древо отчаяния	231
I	232
Древо отчаяния	232
В горах Ливана	234
Рисунок	234

Ради чего живем	235
На Среднем Востоке	237
War pictorial news[10]	238
Вечером	239
Палестинские пейзажи	241
Монте-Кассино	243
«63»	244
Могилы	245
Сентябрьское солнце	248
Торжище	249
Номо Sapiens	251
II	253
Прилив	254
Сон	256
Warum?[13]	257
Малярия	258
Антиосеинее стихотворение	259
Происшествие с музыкой	260
Скорпион	262
Письмо без адреса	263
Со злости	264
Моя комната номер 2	266
Джин Артур	267
Последнее стихотворение	269
К фотографии	270
Против женщин	271

Причины пьянства	271
К...	272
Доисторическая прогулка	273
Моему сердцу в Палестине	274
Натюрморт	275
Цыганка	276
Чернокнижие	277
Калине	278
О калифе	279
Зелёное стихотворение	279
Зелёный холм	280
Бинокль	282
Аноним	282
Счастье	283
Безнадежность	284
На прощанье	285
Что ты дала мне?	286
III	286
Мария	287
Рука умершей	288
Тела	289
Баллада	290
Жена	292
Я и стихи	293
«Баллады и романсы»	295
Моя родная	296

Ненаписанные стихи	298
• • •	299
На реке	300
Самоубийца	301
Критикам	302
Город	304
Охранка	305
Ненаписанные стихи	305
Поэты	307
Скитальческая армия	312
Польский город Багдад	314
Eine Nachtausgabe[22]	317
Третий день малярии	319
Надежда	321
I	322
Надежда	322
Домой!	327
Наш май	330
Майская песнь	334
Первое мая	335
Профессиональные союзы	337
Бытие определяет сознание	340
Мост Понятовского	341
Двадцать второе июля	343
Пятьдесят	344
Для кого стихи?	347

Колокол в Плоцке	348
Моя библиотека	349
Поклон Октябрьской революции	351
Капля крови	352
Повесть о жизни и смерти Кароля Вальтера Сверчевского, рабочего и генерала	353
Слово о Сталине	364
II	372
Мазовия	372
Ближайшая родина	381
Цветенье вишни	382
Рабочий из Радома	383
О соловьиной жестокости	384
Возрождённая столица	386
Моя судьба	388
Другу	389
Всё о Варшаве	390
Соловей	391
О птицах и трамваях	391
Под конец мая	392
Букет на подоконнике	393
В.Б. – без титула	394
Умершей	395
«Освенцимские рассказы»	395
Освенцим	396

Альпийские фиалки	397
Обручальное кольцо	398
Цветы	398
Бездомная Варшава	399
Полёт	400
Майское ночное стихотворение на именины Иоанны	401
О земном шаре	402
Обида	402
Анка в Париже	403
Об отцветании	404
Солнце	404
Матери	405
Юность в Варшаве	406
Каменные бабы	406
О шуме	407
Кусочек Леванта	408
Потому что я часто уезжаю	408
Колонна	409
Бодлер	410
Ласточка	410
О писании стихов	411
Бессонница	412
Гвоздика	412
Об иволгах	413
Птицы и мята	413

Лампочка	414
Стихотворение	415
Забже	416
Внуку	417
Памяти К. И. Галчинского	418
Анка	420
Ясневый гроб	421
Берёза	422
Шторка на окне	423
В упоении и тревоге	423
Плач	424
Фильм о Висле	426
Анка	427
Обещание	429
Моё сердце	429
В стороне	430
Ясность	431
О большой любви	432
Ещё о фильме	433
Я жил	434
Моя дочь	435
Анютины глазки	437
Новые стихи	439
Висла	440
[1]	440
[2]	441

[3]	442
[4]	442
[6]	444
[7]	444
[8]	446
[9]	447
[10]	447
[11]	448
[12]	450
[13]	452
[15]	453
[17]	454
[18]	454
[19]	455
[20]	456
[21]	457
[23]	457
[23]	458
[25]	459
[26]	460
[27]	461
[28]	461
•••	462
Через стену	468
Поле	473
Тишина	473

Незрячий	474
Дуб	476
Плакат	477
Роды	478
Адам	480
Против бешенства	482
• • •	483
На Жолибоже	484
Тишь-тишью	484
Воспоминание о 1931 годе	485
Эстетика	486
Стихотворение	486
Счастье	487
На рассвете	488
Ув. гр. пр.	488
Песня польских рабочих	490
Воспоминание	492
Счастье	496
Против бешенства	497
Стихи к умершей матери	499
По следам Вийона	500
Сумерки	501
Клятва молодёжи	502
Американцам	503
Стихии	508
Конец ознакомительного фрагмента.	510

Владислав Броневский

Два голоса, или Поминовение: Поэзия, проза

Долг, отданный сполна

*Он был из тех, кого легче сломать, чем согнуть.
Леон Кручковский*

Как у немногих, биография Владислава Броневского (1897—1962) единосущна его творчеству. «Рецидивист мечты», он был земным человеком, но жил поэзией. Верил в слово и знал: кто не поёт – тот гибнет. Знал людей и верил в них, а они доверяли ему, находя в нём себя. Верность и честь – нравственная основа жертвенной поэзии Броневского. За малейшую радость он благодарен жизни. Работает во имя её полноты и гармонии. Отечество для него – символ счастья, скорби и возрождения. Деревья – во всеоружии корней, ветвей и листьев – олицетворяют дух народа, к которому он принадлежит. Дерево – дом – дорога: триединая суть его мира, полного сердечной теплоты и заботы.



Этот невысокий тёмный блондин с поразительно сини-

ми глазами, широкоплечий осанистый гимнаст с пружинящей походкой и воинской выправкой был отличным пловцом, лыжником и велосипедистом. Любил бродить по горам, бражничать с друзьями и меряться силой. Был деятелен без суеты. В совершенстве владел техникой жизни. Говорил басом, вдумчиво, не спеша. Общительный, весёлый, остроумный человек. Глубокий и нежный. Облик его излучал мягкую, спокойную сосредоточенность и доброту. Хотя внутренне он существовал в непрерывном кипении эмоций.

Его легко было растрогать. Мастер художественной брани, он плакал от стихов. Умел импровизировать в слове, декламировал наизусть поэзию на разных языках. Был музыкален, подражал голосам птиц, пел народные песни. Иногда подходил к роялю сыграть Шопена. С детства усвоил материнский завет: помоги себе сам. Вкусил солдатчины, тюрьмы, изгнания, но это лишь закалило его. «Старыми друзьями» его были Андерсен, Сервантес и Ариосто; позднее пришли Словацкий, Шекспир, Достоевский, Аполлинер, Норвид, Есенин... С ними он восстанавливал себя, спасался от одиночества и скуки.

В четыре года Броневский потерял отца, в четырнадцать был впервые арестован. Многолетний фронтовой опыт отдалял его от большинства пишущих ровесников («я прожил смерть внутри себя»). Он был храбрым офицером лучшего полка и самым молодым капитаном польской армии. Прежде чем начал печататься, долго избавлялся от «романтико-ми-

литаристской болтовни». Его поэтическая школа – переводы Блока: он мечтал создать «мир подобный, но иной». Из горнила войны вышел стойким борцом, презирающим смерть и знающим цену жизни. С мыслью (в унисон Виткевичу) о необходимости метафизически заряженного «нового и сильного» искусства.

Его поэзия – мерное дыхание пехотинца, воплощённое в строки («Мои стихи жёстки, как судьба, ритмичны, как солдатский шаг, бессодержательны, как жизнь»). «Пилигрим больных сновидений», Броневский фиксирует враждебную пульсацию страшной яви и бредит своей незнакомкой. Мечтает пасть к её ногам «на том берегу тоски». Позади – «слепая вечность», вокруг «глухонемая ночь». А в нём – ожидание чудесной встречи («есть только она... та, которой мы снимся»). И безысходная боль («по ту сторону радости ждут усталость и смерть»). Призрачна надежда, что отгремевшая война была «последней». Ещё миллионам бойцов не дожидаться, когда же «они вернутся к своим любимым, а те повиснут у них на шеях».

Отвага и достоинство попораны неумолимостью гибели. Психологический конфликт с разделённым, вздыбленным страстями миром – источник лирического импульса «Ветряных мельниц» и «Дымов над городом». Выхода нет, и нет утешения: «лишь то, что утратил, – со мной навек». А в стране у руля «всё те же каналы»: свобода обернулась гнётом. Поэту тягостно в «тёмном круге», под «триумфальной аркой

безумия». Он на стороне тех, кто обманут. Шляхетский радикализм органично переходит в коммунизм совести. Власть едва терпят его – строптивного ветерана с наградным парабеллумом, славящего рабочие стачки и Парижскую коммуну. «Тревога и песнь» выливаются в «последний крик» гнева.

Удар следует за ударом. Новая война отнимает родину, не сумевшую толком «примкнуть штыки». Полтора года за решёткой в «изменившейся» Советской России (в камере – чтоб не пропасть – он марширует и рычит строевые песни). Одиночество в «странствующей армии» Андерса и плач «на реках Вавилонских». Отчуждённость и ностальгия тех лет запечатлены в книге «Древо отчаяния». Дважды он пережил смерть жены Марии (была дарована горестная – ненадолго – встреча). Потом всё заслонила гибель дочери Анки – той, с которой так хотелось «вместе думать». Судьба истощила его утратами. Сбылось предвиденное когда-то: «Чёрная тень фонарщика исчезала за поворотом».

В приливе надежды поэт был рад возрождённой Польше. И взялся за благородное, но эстетически рискованное дело: воспеть расцветающий сад, новый дом, светлый путь – «стрелу правды» на «тетиве истории». Его – вернувшегося – завалили премиями и почестями, красили в казённые цвета. Однако он не годился на роль дежурного барда – не желал «фабриковать искусственные чувства». Соблюдал кодекс Рембо и Вийона. Поэтому отказался от высочайшего госзаказа («ор-

ла без короны я ещё могу вынести, но новый гимн – никогда»). «Министр ненужных дел» – только им он мог быть в любом правительстве (как и его друг Галчинский). Ночные звонки автора «ненаписанных стихов» вырывали друзей из сна – требовался срочный, хотя бы молчаливый, ответ-поддержка.

В энергичных строфах Броневского весомо каждое слово – прозрачное, но трезво-материальное. Он «космический реалист» – противник фразёрства и узости («Стихи не обязаны быть логичны, они должны быть прекрасны»). В простые и ясные строки, рождённые искренним чувством, вложен труд, вкус и мастерство. Стиль его узнаваем: волновая, упругая ритмика, акцентный метр внутри напевного стиха, крепкая «работа в рифме». Напряжённость переживания (ведь лирика – «чахотка души») и открытая плакатность, когда незачем иначе. Он поэт созидательного бунта «против бешенства». Поэтому ему удалось классические переводы брехтовских зонгов.

Броневский – беспартийный мятежник – сообщает своё кредо прямо, но без доктринёрского ража – пресекая «софистику, в которую впадают люди, ниспровергающие пролетарскую поэзию». Идее, однажды принятой в сердце, он верен навсегда – как верен своим товарищам. Утрата иллюзий укрепила основу его веры. Он вне идеологий – не отрекался от себя и не менял убеждений. Революцию понимал как «путь без конца», отделяя ошибки от идеи. Наравне с непре-

ложной правдой жизни его интересовала даль времени, когда «будет единая раса, высшая – честные люди». Без зазнайства и праздного шукачества он служил родине, честно отдав ей «солдатский долг поэта».

Нет никакого «другого» Броневского кроме этого – прочного, как его фамилия (одобренная Маяковским). Он немислим на торжище и в бронзовых шелках мавзолеев литературы. Своих сверстников-поэтов он назвал «поколением творческой воли», «авангардом ума и сердца». Сам он из той же породы. Вольный человек, Владислав Броневский презирал капитализм с его узаконенной подлостью и корыстью. Стихи его и теперь прорастают, как зёрна, бережат душу, словом побуждая к деянию. Когда-то он «у могил с родными именами» поклонился русской революции – «шапкой до земли, по-польски». Нам – прельщённым пустотой отказникам эпохи – пристало покаянно склониться перед ним.

Андрей Базилевский

Поэзия





*Скользнула птица чёрной тенью
в квадрате солнечном окна.
И что же? Вновь простор весенний
и небо, где не видишь дна?..*

*А путь всё длится, жизнь всё длится.
Полжизни пронеслось, как день?..
Как миг... Промчалась с граем птица,
и по окну скользнула тень.*



Мне не играли золотые трубы,
Колокола не звонили вовсе.
Только ветер ругался грубо,
Проклиная тоску и осень.

Никто, прощаясь со мной, не плакал,
А кто-то встретит ещё не скоро.
Лишь глухо пёс завыл под забором
Да где-то ворон в лесу закаркал.

Тёмная ночка меня пригрела...



Кабы скрипочку мне дали —
кабы скрипку взял...
Эх, и песни б зазвучали,
под окошком юной крали
всю бы ночь играл.

Кабы мне коней четвёрку —
эх, поводья б взял...
К ней по лугу на вечорку,
да по полю, да под горку
я б коней помчал.

Кабы мне найти монету —
грош бы перепал...
Не бродил бы я по свету,
я бы розы да букеты
ей под ноги стлал.

Сердце по тебе всё плачет,
милая моя...
Слезы в мире мало значат,
ветер сдует, дождик спрячет...
Плачь и ты, как я.

Революция

...Светятся красные окошки. Колёса машин,
приводные ремни,
турбины напряглись в какой-то роковой спешке.
Молоты в кузницах грохочут по раскалённому
железу.
Сыплются искры, вылетают на улицы, тонут в дыму,
плывут над
жалкими, грязными закоулками, падают на деревянные
бараки,
подымают где-то в смердящих сточных канавах...
Бьют молоты. Слышно дыхание труда.
Голые фабричные трубы караулят, словно леса из
виселищ,
клубами дыма глумятся над грязью и нищетой.
Сыплются искры, вылетают на улицы...
Вот целый сноп вырвался из-под молота, опалил
меха,
продрался сквозь клубы пара и – свободный —
взлетел высоко в воздух...
Каждая искра стремится улететь как можно дальше,
она то ниже, то выше, разгорается и бледнеет:
всё дальше, всё шире их круг,
они затмили тусклый свет газовых фонарей,
бросая грозный отблеск на окна красных каменных

зданий.

Вспыхнули ещё раз и одна за другой погасли...

...И снова бьют молоты, дико рычат катушки, мелькают приводные ремни, неистовствуют, безумствуют колёса —

всё быстрее, всё страшней...

Стонет железо, сопротивляется, угрожает, шипит, краснеет,

как кровь, и разливается — бледное, обессиленное...

Взбесились зубастые машины!!.

У ног их ползает человек... — невольник...

И вот, словно в знак торжества над убожеством его, из высоких труб поднимается надменный столб черного дыма.

Дым клубится на месте, потом медленно расплывается во все стороны, расплываясь над плоскими крышами прямоугольников из красного кирпича, где навеки замкнута

жизнь рабов. Заглядывает сквозь мутные стёкла в низкие каморки, втискивается в щели дверей, проникает через выбитые окна в тёмные потроха барачных,

гнездится в грязных дворах, заглядывает в глаза детей, копошащихся в сточных канавах, вгрызается им в грудь,

душит, отравляет, убивает...

Иногда с полей долетает ветер, но ему не под силу унести

этот дым из блеклых, затуманенных глаз ребёнка.

.....
День и ночь грохочут машины.

Сыплются искры, вылетают на улицы...

Вот одна искра выпала из снопа: не гаснет,
не бледнеет,

падает всё ниже, плывёт над широкой, тёмной
улицей —

прямо, далеко...

На улице никого.

Тишина...

Искра плывёт и не гаснет.

За ней тянется полоса красного света, раслаивается
на тонкие

кровавые нити, нависает над окнами, светится.

Всё светлее везде... Красный отблеск...

Взорвалась красная искра, полыхнуло пламя во всех
закоулках.

Зарумянившиеся стёкла хитро поблескивают зрачками.

На улице пусто...

Всё тихо...

.....
Почему умолкли молоты в кузницах, замерли катушки
на прядильных машинах? Почему бессильно обвисли
приводные

ремни, а маховики остановили своё вечное движение...

Заснули фабрики, зажмурил багровые зенки как
дикие звери.

Уже не валит дым из высоких труб, погас жар под

котлами,
а красные искры всё летят и летят...
Удивлённо и угрожающе заскрежетали напоследок
зубчатые
колёса машины, когда последний раб выбежал
на улицу...
Летят красные искры...

.....
Они идут!

Они выбрались из тёмных, смрадных нор,
захлопнули стальные ворота фабрик, забыли о грязных,
затуманенных слезами нищеты окошках своих
подвалов...

быстрым шагом вышли на красные улицы.

Они идут!

Грохочет каменная мостовая.

Они залили все площади, улицы, переулки – их всё
больше,

всё шире они разливаются по предместьям,
их уже не остановят стены из красного кирпича.

Клокочет, растёт толпа, колышется масса голов,
и слышен гневный гул, словно скрежещут, спадая,
оковы,

из каждой груди рвётся долго сдерживаемое проклятье.

Темно – только красные нити летящих откуда-то
искр

мерцают, блуждая низко над головами...

Люди вырвались из когтей чудовища,

сбежали из своих убогих клетушек и уже не вернуться

назад!

Они войдут в эти светлые, стеклянные улицы,
вломаются в сверкающие кафе, высадят ворота дворцов,
вытащат из них несправедливость, задушат, бросят
в грязь,
и миллионы ног растопчут её!..

.....

Они идут!

Плечи напряжены, кулаки сжаты, глаза, еще недавно
блеклые,

сияют нестерпимым блеском.

Окна богатых каменных особняков глядят на них
с ненавистью,

но и с тревогой... Оттуда, из окон второго этажа,
на них с отчаянием и яростью взирает
несправедливость.

Там везде роскошные ковры и зеркала, блещет паркет
белых салонов, но почему-то смердит потом
и нищетой...

А они идут.

Мерно, спокойно, волной расплавленного железа
заливают широкие площади и бульвары...

Красные нити искр уже не выются над ними —
искры во главе толпы, они слились в одно кровавое
знамя

и радостно трепещут в воздухе!

Люди идут!

В такт мерной поступи, поначалу несмело,
пробуждается песня,

дрожит в приоткрытых губах, дрожит
вместе с широкой волной голов, крепнет, грозно
сгущается.

Это уже не гневный ропот,
а тревожный гул, подобный дыханию тысяч людей.
Эта песня – уже не стон, а гром!..

...И вот, яростная, как раскат грома, она взревела
могучим хором отмщения, взвыла эхом всей их
собачьей жизни —

завучала гордо, отчаянно, непреклонно...

За наш пот, за голод и боль!..

За наши дни без солнца!..

За наши дни без хлеба!..

За нашу жизнь без счастья!..

Расплата за кровь!

Кровью – за кровь!!!

.....

Лес вытянутых рук со сжатыми кулаками.

Сквозь него прорываются слова песни, красные,
словно кровь.

Слова, сильные, как буря, страшные, несущие
возмездие...

Они ударяют в ворота дворцов, выбивают двери,
замораживают всё внутри, снова мчатся на улицу,
крушат зеркальные витрины, врываются в храмы,
гасят поминальные свечи, окружают алтари,
ищут бога под гордыми куполами...

И вскоре выбегают оттуда, ибо нет бога ни под
куполами,

ни над ними, нигде...

Ха-ха-ха! Мир движется по кругу —
крутится колесом людская беда и сама пред собою
падает ниц!

Ха-ха-ха!

Захотали красные слова песни, захотала толпа...

– Тебе мы будем поклоняться, Жизнь, тебе, Счастье!

Долой страдания!

Долой крест!!

.....

На огромной площади воздвигли огромный трон.

И втащили наверх труп, и водрузили ему на голову
корону.

– Царствуй, мёртвая нищета!

Царствуй, издохший голод!!

Ха-ха-ха!

Умер старый мир, умерла несправедливость, умер
старый бог...

Да здравствует жизнь!!!

.....

Красное знамя трепещет звуком радостных слов
песни...

Бледнеет последняя ночь.

Восходящее солнце смотрит в лицо трупу в короне...



Со страхом и любопытством
в зеркале присматриваюсь к себе:
это я —
двадцатичетырехлетний,
уставший, никому не нужный человек!

Ничего особенного с виду:
то же лицо у меня,
что ношу каждый день, хоть ты тресни:
нос с горбинкой, серый овал лица,
и всё же стоит там кто-то,
будто знакомый,
который не так уж мне интересен.

Ночь.
Ночью нужно спать,
как спят все на свете люди,
Пусть снов не будет
и ничего плохого с тобой не будет.
Главное – вовремя встать.
Именно перед этой ночью я умер.

Но мой труп,
зловонный и синий,

безмозглый,
напился,
хлебнув ободранным в последнем крике горлом
паршивого вина:
брызг застойной сгустившейся крови.

Эй вы, путники, те, которые
видели льды Гренландии
и ощутили затылком
солнце Австралии, —
я покажу вам солнце
в блеске стали —
свистящей пули
из пулеметного горла.

Ох ты, сердце
маленькое, трепещущее,
ох вы, глаза
застывшие, ослепшие...

О, если б я был большим детским богом,
я бы весь мир на бегу догнал,
бил его и пинал,
лысый череп с размаху мозжил,
пронзал полюса ударом жестоким.

Дымные, смрадные окна Европы бить,
плющить гнилые мозги, как танк,
Триумфальную арку на части нещадно рассечь,

костями своими бесстыдно играть «ва-банк»,
сердцем – ракетой красной – душный воздух
пронзить,
смирительную рубашку Правды сорвать
с обезумевших плеч.

«Мечта отрубленной головы» —
(эту фразу, конечно, знаете вы) —
слушайте!

В моей отрубленной голове
разноцветный гуляет ветер,
играет музыка
низвергающегося космоса —
и никогда не заходит солнце мое,
чудесное, как цветы
лотоса,
чистое, как слеза,
яркое до слепоты.

Приду один
и встану
там,
перед веков эшафотом.
Если хотите, я брошу вам
в морды пригоршни слов,
как блестящих золотых.
Если хотите,
я обнажу свой крик, как открытую миру рану,
и мысли мои табуном, как безумные кони,

пусть мчат стремглав через мост
от погони.
Я ракета,
летающая с чёрных звёзд.

* * *

Закрылся день – заплеванная корчма,
ночь в мир помои выплеснула из кухонь.
Целуйте, пьяницы, в косо́й фасад дома,
кидайтесь фонарям на шею, как потаскухам!

Взглядом сфинкса сверлили зрачки синема и кантин,
по бульвару шатались химеры в шляпках с ярким
кантом,
из скрижалей Моисеевых понаделали карты вин,
и всякая извозчичья кляча выглядела Росинантом.

Я выехал из города последним поездом.
Резко голос ее «на помощь!»
звал.
Толпа выла,
ревела,
била в гонги.
В горящем доме
матчиша

бал.

Смутные призраки.

В крови пожар.

Порыв.

Гигантский радиоаппарат

изрыгал искорки,

газ пылал,

давил пар.

У меня был билет до белого океана,

но поезд встал на пустой станции,

и вновь видел я ночь, нагую и пьяную

от вина хищных акаций.

Но я знал, покуда стоп-кран не пресек колес разгон,
что будет радости буря и теплый дождь заплещет.

Из стеклянного спального солнце выпрыгнуло
на перрон

и пылкое сердце зажало в жгучие клещи.

Слушай.

Не надо слов.

Нет ни завтра еще, ни вчера уже нету.

Гляди: из флаконов бумажных цветов
вырастает цветистая нива.

Знаешь? От больной пропойцы-ночи
я сбежал, как из сумасшедшего дома.

Тут светят солнца в огарках на стойке буфета.

Прямо – как в этих словах намолчанных,

сладко – в мелодиях многоголосого гомона.



Есть печали, как первые грёзы младенца,
бестелесные, тонкие – сесть и заплакать:
мёртвой осени тени плывут через сердце
и глядятся в окно, запотевшее в слякоть.
Выплывают они с календарной страницы,
из надгробной плиты и металла виньеток,
из газет и ложатся на тусклые лица
в толчее городской. Есть печаль без ответа
отправлений почтовых и ртов, сжатых болью.
Есть печальная жалость мазурок Шопена,
что таится под грузом упрямых бемолей.
Есть предчувствия и огорчения пена
человека, который от тени на зданье
ожидая чего-то, в пустое пространство
тихо вместо «прощай» говорит «до свиданья»
долгой невозвратимости и постоянству.
А другие, безумные злые печали,
сквозь бессонную ночь по мостам, переулкам
и бульварам преследуют эхом в канале
неспокойную лодку, мотор её гулкий
с аритмией сердечной, и ветер о камень
треплет крылья под арками, прячет враждебность,
есть печаль, как разрезанная мотыльками
чернота бесконечных болезненных дебрей.



Пьяный мозг слепые виденья наполнили:
рухнул неба свод, разодран, как черная шаль,
ветер размашистый мял и косые секли его молнии,
мир же по кругу бездумно двигался вдаль.

Дерзко подступим к веков обугленным плахам,
будем старые луны о звезды дробить на куски;
горсти слов, словно золото, будем бросать с размахом —
и ракетами взмоют сердца из груди взпуски!

Песни в космос будут излиты солнца
радиоаппаратом
и воспарим мы в скрипе трансмиссий, колес и спиц.
С нами электросила и пар, её адоратор,
аэропланы попадают, как метеоры, ниц.

На пьяных кораблях мы отправимся плавать весело,
вгрызаясь в континенты рьяно, как червь в бревно;
с крестов на черной Голгофе снимем всех,
кого там повесили
небу крикнем «На землю!», кровь обратим в вино.

Карманьола «Хиены»

Шум, суматоха, в пене рыла,
гром извергает Лютославский,
а «Двугрошовка» и «Варшавский»
кровь проливают, как чернила!

Штаб ратный «Речи Посполитой»,
за ним святоши, в бой готовы,
и дамский клуб блаженной Зыты
ведут страну дорогой новой...

Банкиры, лавочникифранты,
подростки, прачки, фабриканты,
домовладельцы, спекулянты
и в пёстрых шапках корпоранты...

«Фашизму слава! Выше, стая!
Жидам – по жёрнову и в воду!»
Нам Новачинский пишет оды,
в горшок с дерьмом перо макая:

«Наш свет пробьёт над Польшей тучи —
пусть нация врагов карает!
Там, в Риме, Муссолини правит,
здесь будет... Галлер в роли дуче...»

О генерал! Веди когорты
во имя Бога и Антанты —
летите, ключья пейсов, к чёрту,
а сейм разгонит сам Корфанты!..

Нам ждать и медлить не пристало,
пройти по Вейской все готовы —
гремите, патриотов зовы —
погром в «Поранном» – лишь начало...

«Ewiva fasci!¹ Палки к бою!»
раздулось сердце, пухнут вены...

.....
Здравши морду ввысь, «Хиеной»,
вся площадь Александра воет...

.....
Но что станешь делать, скотина,
когда будет кровь рекой,
когда тебя втопчет в глину
гнев наш рабочий, злой,

и падут кулаки на шеи
ваши, бесчинств творцы,
когда печи фабрик дотлеют,
сгорят в поместьях дворцы?..

Дрожите! Близка расплата!

¹ Да здравствуют фаши! (*ит.*).

Ключи хватайте от касс!
Уже кулаки сжаты
гневных, голодных масс!..

По норам, банда! По норам,
к жёнам, к перинам нагретым.
Час наступает. Скоро
смерть вам с красным рассветом.

Поэты

Слепые и нищие, плетутся они к костёлу,
стиснув миску, лишённые даже крова.
– Вельможный пан, помогите в жизни тяжелой,
три дня не ел, хоть грошик дайте, хоть слово.

– Приходите, нищие, здесь во дворце живу я,
сам построил, и вам хватит скитаться по свету.
Вашу жизнь одним днем оплачу, не торгуясь,
брошу под ноги сердце – золотую монету.

Война

Ночи молчат и чернилами небо чертят,
узоры скорченных тел и белки мертвых глаз,

флаги деревьев, иголки на карте боёв и смерти
и магнитную стрелку, которую дрожь свела.

Целят прожектора́ треугольники взглядов.
Выстрел тьякнет над чернотой, удушающе, высоко —
и завибрируют псы шрапнели, затывкают,
ибо им надо
драться за кость, невидимый ночью окоп.

Мы же копаем рвов длинные узкие щели,
пахнет могилой земля, каждый метр ее.
Словно нож гнойную рану, ракета объект
выцеливает
и подышает, в геометрию проводов втиснув тело
свое.

В горле – спазм, зажатый пальцами воя,
сумасшедшие мысли в эмали черепа стынут.
Выстрел. Выстрел еще. Тишь и треск пулемета
над передовую.
Кровавое брюхо рассвета скоро дополнит картину.

Прощание с Европой

Хо-хо – друзья мои,

завтра я уезжаю в Батавию,
там меня ждёт моя голубая невеста,
с которой мы не виделись так давно.

Каждый день она ждёт в порту
и машет длинным белым платком,
и плывут по морю маленькие пароходы.

А зовут её Антуанетта.
А глаза у неё совсем зелёные.
Зелёные, похожие на оливки.

Я уезжаю, уезжаю, друзья,
крю вместе с вами последнюю трубку.

Отправьте на родину телеграмму:
я уезжаю!
Я больше не буду ждать трамваев,
не буду читать объявлений в газетах.
Антуанетта!

– Землетрясение в Новой Зеландии!
– Государственный переворот в Буэнос-Айресе!
Гости в таверне пьяны,
резко жестикулируют длинными руками.

Я пью через соломинку холодный коктейль,
пью за здоровье моей голубой невесты,
и меня абсолютно ничего не волнует,

кроме дыма, который уже рвётся
из четырёх белых труб «Цивилизации»,
отплывающей в Батавию.

Хо-хо, хо-хо, Антуанетта!
Я уезжаю, уезжаю, уезжаю...

Негероическая песнь

Героической не будет эта песнь,
гимн мы не споем во славу Бога.
Скрип колес да ледяная взвесь
на осенних, на далеких дорогах.

Острый дождь, секи лицо, не промажь,
страшен снег, сжимает горло жара.
Есть всеильные слова и есть слово МАРШ,
завязавшее нас в узел живой вчера.

А во рву глубоком, сыром
небеса оловянным жёлобом,
и ты просишь: «Плащом укрой,
холодно».

И еще просишь: «Дай пить».
Ты становишься бледней и бледней,
твое сердце устало бить,

вот повязка и кровь на ней.

Есть великая тишь под печатью лет.

Память – кладбищем, и молкнет певец.

Там, за окнами, черная ночь, и черный ветер
флагом страха вьется в черной листве.

Отзовитесь могилы Вердена, Бельгии, Марны,
павшие на

полях под Киевом, Костюховкой и Поленбергом.

Стройтесь: второй, первый...

Снова война.

Ветряные мельницы



Молодость

Брели на восток батальоны, полки, эскадроны,
под мелким дождем молчаливо солдаты усталые шли,
тащились обозы, колеса в грязи утопали зловонной,
по черным размокшим дорогам огромные лужи текли,

пылали пожаром халупы, стога и овины,
завесы белесого дыма скрывали от глаз города.
Но шли, грохоча, на восток – вереницею длинной,
один за другим чередой уходили года.

Черней и черней становилось в дремучих лесах
на Волыни,
и голову все тяжелей становилось нести на плечах...
– Я знал, что тебя смертоносная пуля не минет,
мой юный поручик, красивый, прямой, как свеча.

Сотру с твоих губ окровавленных алые росы...
Тебе неудобно лежать на земле среди трупов в пыли,
с тобой поделюсь я последней своей папирсой
и банкой консервов, что мы из обоза тайком унесли...

Не хочешь, старик?.. Как узнать, где тебя закопали —
Под Куклюю? Под Каменюхою? Под Чарторыйской
горой?
Из нашей двенадцатой роты все безвозвратно

пропали,
гниют, как и ты, на чужбине в какой-то могиле сырой.

Растаяла молодость лужею мокрого грязного снега,
ненастные дни убивали, сжирали, подобно червям,
пронизывал холод могильный меня на осеннем
ночлеге,
среди трупов я сам полутрупом бродил по осенним
полям...

Ковальский – его разорвала граната. Игначек —
три пули в паху... у Марциняка – тот же удел.
Я вижу его пред глазами – он стонет и плачет
и просит воды... О, как он при этом глядел!

Мой брат, я тебя напою. Для тебя есть вода еще
в фляжке...

Как мне тяжело было маршем походным брести —
не знаю, затем ли, что сердце томило так тяжело,
затем ли, что двести патронов с собой полагалось
нести...

О, пусть это небо раздавит меня, уничтожит,
но я перед ним не согнусь, закричу, вызывая на бой:
– Артиллерия черная, ты еще выстрелить можешь
и солнцем промчаться слепым над землей неживой.

Ну что же, плесни в меня смертоносною лавой огня,
сверхни траекторией радуг, чтоб лег бездыханным

трупом,
пучина бездонная пусть навеки поглотит меня,
вместе с сердцем – надтреснутым, юным и глупым.

Soldat inconnu²

Был я простым солдатом.
Стало ненужным имя.
Труп, у могилы взятый,
придавлен я мостовыми.

На грудь мне швырнули знамёна,
чтоб не видеть следа от пули.
Лежу я, гранитом стесненный,
твердым булыжником улиц.

Грудь сапогами топтали
солдаты полков несметных:
«Победа!» – в угаре кричали,
проходили и удивлялись смерти...

Стойте, замрите на марше!
Нет победителей, братцы!
Снимите с груди моей тяжесть:
Триумфальную арку и Францию!

² Неизвестный солдат (*фр.*).

Не хочу я быть ее сыном —
она, крови напившись, ликует.
Я пойду на нее с карабином,
в сердце ей штык воткну я!

Разбейте ей душу пустую,
кости развейте по ветру —
я приведу вас во Францию иную,
в отчизну любви победной!

Последняя война

I

Точка!
Кончайте с этим без споров!
Довольно кричать: «Ура!...»
Глядите:
плетется армия через город —
та, что сражалась за вас вчера.
Дивитесь?
Мечетесь бестолково?
И никто не знает, что говорят:
то ли что война начинается снова,
то ли что просто готовят парад.

– Мы очень солдатиков любим,
мы им бросаем букеты,
да и государство им платит!
Но эти... в лохмотьях грубых...
Кто же поверит, что это
наши отцы и братья?

Зарыли их
сотнями
в братских могилах,
поплакали —
и дело с концом...
Зачем же явились?
Кто пригласил их?
И кто их опять закопает потом?

Шли
по улицам
батальон за батальоном,
сгнившие,
не лица —
оскал черепов.
Черное пятно
на виске размозженном,
флагами
отрепья
почерневших бинтов.
Заполнили площади,

бульвары наши,
стали бивуаком вдоль улиц...

...И сразу
по лестницам радиобашен
депеша в просторы шагнули:

– Всем! Всем!
Встаем из гробов!

Помогите нам вылезть из ям!
Мы,
убитые со всех материков,
заявляем:
конец смертям!

Думаете:
«Павшие мирно спят...
А это —
сражений мерещится ад...»
Нет!
На площадях и на улицах митинг.
Слово имеет неизвестный солдат.

II

Страх

лапой косматой
бил по окнам.
На засовы ворота и ставни.

Ни вздоха.
Но слышно было:
шли
шагом широким.

С улицы
слышалось:
барабаны,
пение,
грохот.

В касках стальных
шли немцы
скопом
с Марны,
Соммы,
из-под Вердена.

Шли
замерзшие в бельгийских окопах —
из колоний пригнанная
черная смена.

Шли
голубые французские зуавы,
русские – в тине мазурских озёр,
австрийцы одиннадцати атак у Пьяве.

Шли
заколотые,
задушенные,

застреленные в упор.
С полей, из лесов,
со дна океанов —
вот все уже здесь они – вместе.
Толпы
под городом, морем нагрянув.
Шумят,
шумят
знамена и песни.

Ша-гом... арш!

Огромным потоком
хлынули
полк за полком...

– Эй!
Мост наш —
от запада до востока!
Идем!
Идем!
Идем!

III

Идут солдаты на запад. Идут бойцы на восток.
В брюхо Европы, как в барабан, бьют карабин

и сапог.

Идут добывать Варшаву, Париж, и Берлин, и Рим.
В небо швыряют песни. В небо – штыки и дым.

Шагают, проходят с песней: родина – целый свет —
земля, и моря, и небо – годы, миллионы лет.

Века наперерез им. А они – как через порог!
Жалости нет для неба – умер, пристрелен бог.

Он умер, сраженный песней. Труп притащат на суд.
Фронт через землю – в небо. Фронт и там и тут.

IV

Четыре армии – четыре лезвия —
в Рим – в Пиренеи – в Урал.
Торпеды! Пушки и митральезы!
Знамена по ветру! Ур-р-ра!..

V

Это не молния
ударила прямо

в триумфальную арку победы.
Не гроза
разрушила стены храма.
Это крылья примчали
другие беды.
Крест золотой
над Пантеоном
качается,
рухнет —
еще один миг.
Вздымаются,
подобно рукам обгаренным,
разгромленные арки базилик.
Треснула сталь.
Сверглась лавиной
и ринулась неудержимо.
Слышно:
бьют приклады карабинов
по двенадцати таблицам
законов Рима!
Валится готика
лесом высоким.
Со стен алтарей
вопят
святые,
летят
из библиотечных горящих окон
Библия,
Евангелие

на мостовые...
Бога в небе
не нашли самолеты.
Подлодки
зря
гонялись за ним.
– Вранье!
Там пусто! —
кричат по ротам, —
Сами
заново
мир создадим!
Идут.
Небеса голубеют рядом.

Идут.
И каждый – бог с этих пор.
В огонь несут
флаги,
кресты – громадой,
разжигают
невиданно огромный костер.
Пылает.
Зарево взвивается, клокоча.
Багрянцем
расцвечена
окрестная ширь.
.....
Земля наша!

Земля ничья!

Мир!

Мир!

Мир!

VI

Когда

никому уже не придется
делить огромную родину мира,
сонм белых ангелов

вернется,

и все разодеты,

словно для пира.

Неважно,

что губы изъела могила,

что червь

живет в глазах, жирея.

Они вернутся

к своим любимым,

а те

повиснут у них на шеях.

Не из могил:

из дальних странствий

придут к родному порогу гости.

Земля расцветет

цветком пахучим,

пылающей розой —
любовью.

Исповедь

Дерзил я свету.
Ночам перечил.
Душил я ветры
удавкой-речью.

Гремел я громом.
Дождем рыдал я.
И зримым словом
весть оглашал я.

Слова-стремленья
швырял я в небо.
Слова-каменья менял
я в хлебы.

Глухая ночь над
горой святою.
— Мария, видишь
свет надо мною?

— Звезда сияет,
заря пылает,

но то не ангел
знак посылает...

– Мария, слышишь?

Моё ведь имя!

– Да нет, всё тихо
в Иерусалиме...

– Он лжет, Мария,
Отец небесный:
как гвозди – звёзды,
как пика – месяц!

Утёр бы кровь —
перебиты руки...
Ты понял, Петр,
Сколько в слове муки!

Мрак наготове.
Время в зените.
Нет правды в слове.
Грех отпустите...
Грех отпустите...

Рабочие

День начался рабочий.

Молот несем, кирку и лом.
Молот в руках грохочет —
строим за домом дом.

Забиваем снова и снова
сваи в глубину рек,
разжигаем уголь Домбровы
в машинах, движущих век.

Воздвигаем железные своды,
строим храм без богов, без слёз,
запрягаем гений народов
в сверкающий звездный Воз.

Расправляем крылья в походе,
вихрем улиц вперед идем,
прорезаем тучи над Лодзью
красных зарев ножом.

Мосты на Запад и на Восток!
И дальше, не зная препон!
В горизонт
молотом бьем!

Последний подходит срок!
Мы куем,
кузнецы, —
нас миллион.

Молния. Гром. Мощная песня
в груди пылает пожаром.
Железная цепь треснет
под нашим тяжелым ударом.

В буфера кровь вместо масла влив,
путь расчищаем своими руками.
Вперед, истории локомотив!
Котлы разожжем своими сердцами.

Демонстрация

Кипящий жар пожирала тротуаров иссохшие глотки,
раскалённого солнца кусками падал на крышу гром.
Толпа вырастала в небо. Напирала, выставив локти.
Убегали, звонили трамваи. Шаг печатал за домом дом.

Как глаза, небеса расцветали. Глаза васильками
синели.
Гудели сердца дрожащие, спазмом клубился крик.
Ветром улиц – птицы-знамёна и дымы от фабрик
летели.
Синих жил в кулаках напряжение. Лбы таранят тупик.

Триумфальные арки въядуков напрягли тетиву разгона.
В черепках купола базилик, многократно огромней,
чем Рим.

Груды голые – рык батарей, взрывами распалённых.
Песни кровью обвиты, как знаменем,
вбитым в пламя и дым.

Прожектора жгучий луч, клубки кентавров свирепые,
небо корчилось на мостовой, в чёрной лаве город
продрог.

Глаза синевы повыцвели, от красноты ослепли.
Вздудался вулкан горящих голов, кулаков и ног.

Иокогама

Там, где над Дальним Востоком парус полярный бел,
где небо и море едины, как на японском флаге, —
сонную Иокогаму кошмарами одолел
призрачный древний Фудзи, скрытый в солёной
влаге.

Чудится Иокогаме сдавленный гул глухой —
словно подземный топот, битва, гремящая близко,
словно под великанской беспощадной ногой
рушатся небоскрёбы где-то в Сан-Франциско.

Слушает Иокогама монотонный ритм
и, маяком взирая – глазом блёклым, стеклянным, —
видит Японии льдину, льдину Европы зрит —
сушу, что в мрачном море застыла, как Геркуланум.

Мы же, во тьме внимая звездным шумам в Ковше,
чуя дрожанье суши, слыша ее дыханье,
кратеры метрополий топчем с огнем в душе
и разжигаем пламя в мировом вулкане.

Последний день

«Скорей!» – дрожащие улицы стонут и ржут,
зарёванные,
на площади бьют в набат, бурлящие толпы прут.
Небо – сырой тротуар, окровавленный
и заплёванный.
Дико под ребрами вздулся сердца распухший труп.

Тумбы афиш прорастают женщинами живыми,
а поэты их режут острым красным ножом,
головы, как конфетти, в корзину летят с гильотины,
мозгов растоптанных месиво синеет грязным
пятном.

Город распят на решетках вздыбленных улиц,
лица домов, как сеть, занавесила морось мгlistая,
тянутся кверху фасады домов, дрожа и сутулясь,
хотят у каминных труб на шеях повиснуть.

Остро мигая, гасли глаза на пустом перекрестке,

«Что же... всё кончено?..» – губы жевали беззвучный вопрос.

Кто-то поспешно тискал в опустевшем цветочном киоске

трупики тощих, помятых, как проститутки, роз.

Бегство

Деревья – худые – махали руками отчаянно,
в сверкающих лужах плясали тени – шальные...

Глаза! – а в глазах мягко, страшно и маятно...

Злые глаза – огромные, бархатистые и чужие.

Волосы ветра дождливые опутали нас тайком,
гонит на чёрных крыльях ночей прожорливых стадо.

Молчи! Убегаем. Успеем. Да, знаю, ещё далеко.

Дальше некуда – ладно, доеду, я должен, так надо!

Куда? – не знаю. Куда? – не спрашивай. Далеко!

Улицы мчат вслепую – крест-накрест – чёрными
иксами.

Пёс-ветер на повороте за горло хватает молчком.

Смотри! – на коне пролётки архангел Апокалипсиса...

Слышишь! – город шипит, глазницы его пылают.

Мы падаем в пустоту – уже ничего не случится,

только сердца́ во мраке – гудящими колоколами,
только уколы дождя – дробные капли на лицах...

* * *

Опять мостовые, стены... Их скуке навек я отдан,
всё гонит меня отсюда, но тело – будто связали.
И ничего не изменят ни Рим, ни Париж, ни Лондон:
ведь и они в мою душу твоими глянут глазами.

Не ослеплюсь их блеском, не оглушусь их шумом,
и почернеет вода в каналах венецианских.
Оттуда к тебе вернусь я последним криком угрюмым,
вернусь к тебе мрачной тучей, повисшей в пустых
пространствах.

Но всё же вырвусь, уеду, отправлюсь в дальние дали,
так много волюшки вольной на морях и на суше,
и городов так много... О, чтоб они все пропали:
везде без тебя мне плохо... Да и с тобой – не лучше...

Путник

Лишь на север мне дует ветер,

и от волн – седина моя,
мне звезда путеводно светит,
мне как суша – моя ладья.

Не страшат меня бури ярость,
медь луны, чернота, синева.
Сердце – горящий парус!
Сердце – разбитый штурвал!

Нет, не будешь ты ждать, как Сольвейг...
(Ветер к северу мчит, озверев.)
Не сумеешь ты спеть, как Сольвейг,
изодранный ветром напев.

В глазах от простора – резь.
Поднять паруса! Вперёд!
Мне родина – мир этот весь.
Кровь зорь в моих жилах течёт.

Ветряные мельницы

Ветер опутал их черные руки,
рвут они тучи и день изо дня
кружатся, крутятся в бешеном круге
и заглушают крик воронья.

Шибче, быстрее исполинские взмахи,

грудь деревянная дышит с трудом,
вербы косматые мечутся в страхе,
жмутся лачуги, поросшие мхом.

Кружатся, крутятся, вертятся крылья,
говор их кажется мне ворожкой,
тьме и ветрам они путь проторили,
тащат за космы туман полевой.

Тучи-мешки высыпают на жернов
рыжих закатов серу и медь,
сумрак мукою густою и черной
падает в звездное небо, как в сеть.

Солнце потоки кровавые лижет,
в пене закатной скрывается день,
крылья чернеют крестами, и вижу —
кем-то распята на них моя тень.

Душат ее до утра и тиранят
черные руки, остры, словно крик...
В красное небо, подобное ране,
прыгнула тень и растаяла вмиг.

Перун

В небе – хриплые трубы,

ветры – равнину косят,
рвутся под ветром грубым
черные стяги сосен,

пляшут отблески лунные,
топот в заоблачных кручах, —
не колесница ль Перуна
носится ночью по тучам?..

Заоблачная погоня
напролом всё мчится и мчится,
четыре ветра – как кони,
и стучит-гремит колесница...

С колесницы быстрой твоей,
словно змеи, рвутся огни!
Эту ярость живых огней
гробовым плащом осени,
гробовым дождем оберни!

Маржана

Птицы в небе кружат очумело;
что же стало испуга причиной? —
лик Маржаны мертвенно-белый
над белёсой висляной пучиной?

Над водой – седина тумана,
и шумят два вихря, буяня:
Свист и Посвист уводят Маржану,
и – как саван ее одеянье.

А куда уводят – не знаю;
вьются волосы, с дымкой схожи...
Вихри, с вами я быть желаю —
поведу я Маржану тоже!

Свист и Посвист, я с вами – третий!
Птицы, утренней песней унылой
встретьте час белизны и смерти,
час прощанья с Маржаной милой.

Смерть

День усталился в окна, трупно набрякший, хворый.
Медленно ходит время в больнице по коридорам.

Тихо. Серо. И пусто. Можно дойти до точки.
Тучки толкуются в небе, как пациенты в садочке.

Скрючившись по-паучьи, пальцы дрожат без толку.
В склянке цветы увяли, пахнущие карболкой.

Мысли – сонные мухи – на подоконник вползают,

крылышками о стёкла бьются и опадают.

Кто-то стоит за дверью. Кто-то уже в палате.
Смерть, монашка и доктор – все у моей кровати.

Тени

Пешеходы ночные: и мрак, и молчанье,
и дрожащие тени в фонарном качанье...

Тени тянутся – как им покинуть хозяев? —
пролезая в штакетник, на дом напозая.

То ничтожны – их топчут ногами по лицам,
то верзилы, которых любой устрашится.

От испуга их шляпы дрожат и береты —
так пугаются тени огня сигареты.

У реки – завершение ночного похода:
тени вниз головою срываются в воду.

Исчезают! Уплыли... Повсюду забвенье...
Пешеходы бледнеют – как тени, как тени.

Я и месяц-оборотень

Месяц рехнулся! Выгнулся «тройкой»,
Тучку взнуздal и в небе чудит.
Улица, вздрогнув, движется бойко,
Город – стоглазо в небо глядит.

Влево иду и прямо куда-то,
Ветреник поздний и весельчак.
Месяц, пасущий звездное стадо
Желтой подковой – по мосту – звяк!

Пляшет на крыше мим этот лунный,
Талером в ноги спрыгнул, звеня.
– Ах ты, забавник, шумный и юный!
– Я, ты и ветер – все мы родня!

Концерт

Дирижер, разъяренный, вспотевший,
махал еще палочкой грозно и гордо,
но уже с рыканием бешеным
по улицам летели аккорды.

Выскочил из зала взволнованный маэстро,

сбежал по лестнице с застывающим взором
и крикнул городу: «Требую оркестра!
Я здесь сегодня буду дирижером».

И вдруг – флейты улиц, черные, грубые,
грянули в небо гимном мощным,
заиграли кларнеты – фабричные трубы,
им вторили фаготы водосточные,

медные трубы крыш и башен
вскочили в губы туч беззубых,
и в цилиндры домов, крытых жестью и сажей,
звезды кулаками били, как в бубен.

А когда свет зажегся в финале,
все увидели: быстры и легки,
по струнам рельсов – скрипок из стали —
трамваев пошли смычки.

Дирижер концерт затянувшийся свой
хотел прервать, измученный и усталый,
и вдруг протяжной нотой по мостовой
забрнчали солнца золотые цимбалы!

Тогда, напрягши последние усилия,
он выхватил карандаш и, волненьем объятый,
на пяти телеграфных линиях
написал новую кантату.

Дымы над городом



Роза

*Когда же мы поднимем головы
над залитым кровью изголовьем ?
Жеромский*

Хор

Идем к стене цитадели,
осевшие вскроем могилы,
отвяжем с отцовской шеи
те петли, что ныне гнилы.

Стон в вихре

Невредима стена цитадели,
белена на могиле возрастает,
в ночь никто не разрушил ограды,
и обида все та же витает,
мчится с криком на сёла и грады.

Хор

Землю кладбища вскроем упорно,
где отцовские кости живы, —
породили вы, смертные зёрна,
свободы богатые нивы.

Стон в вихре

Тщетно сеем мы головы-зёрна:
зерна гибнут, в пару истлевая,
слово-плуг целины не вспахало,
призрак бунта обида воззвала, —
этот призрак в плуг запрягаем.

Хор

Висла! Ветрами Мазовша
пусть радость заплещет над нами!
Мать-земля! Привет тебе – ковшик
здравный с простыми слезами.

Стон в вихре

Сердцу радость – земля Мазовша;
но над ней крышкой гроба нависла
лихая судьба – разоренье;
стон в нагих тополях и смятенье,
стон от ветра над шумною Вислой...

Хор

Кровь, стократным засохшую слоем,
пусть весной земля позабудет,
светлый дом пусть бездомный построит,
мощью пепел развалин да будет!

Стон в вихре

Средь мира до смерти бездомны,
стократно с плечами нагими,
стократно мы станем под зорькой,
как созревшие к жатве колосья,
пышным златом земли родимой.
Жил открытых живой смолою
снова в землю стечем, как от века,
снова хлебом взойдем чередою
на веселье и мощь человека.
Пусть вихрь нас рвет, ломая,
костьями, как зернами, сея, —
стократно встанем для мая
в крови – бездомная стая —
розой из сердца Окшеи.

На смерть революционера

Из этой пустой и холодной камеры
мне придется уйти вскорости —
в последний раз посмотреть на небо,
в последний раз улыбнуться молодости.

Сейчас жандармы придут за мной,
не говоря ни слова, выведут.

Надо стоять у стены крепостной,
не теряя солдатской выправки.

Умирать, когда ты молодой,
в двадцать лет еще не жалко.
Не сломленное ежедневной бедой
сердце вместит хоть десять залпов.

Потому что жизнь прекрасна и нова,
и жить стоило и стоит погибнуть,
если, как знамя, горда голова,
а выстрелы свет из груди твоей выбьют.

Надо уметь умереть красиво,
в наведенные дула смотреть надо смело!
Чтоб это и подлость поразило,
когда умолкнет грохот расстрела.

Пионерам

Сердце в груди не может вместиться —
грудь рассеки, коль она тесна!
Если мы крови будем страшиться,
придет ли победная наша весна?

Если песня не брызнет с кровью,
будет песней нам залпов свист.

Зубы стиснув и сдвинув брови,
в боевые ряды становись!

Топчут ногами, бьют прикладом?
Хлынула кровь, заливает рот?
Стену лбом прошибешь, если надо,
на Бастилию вспомнив поход.

Молотом в грудь? И грудь не треснет!
Для победы сил не жалея...
Будет радость и будет песня,
будет жизнь веселей и светлей.

К товарищам по оружию

Вы на фронтах умели умирать.
Вы Бельведер умели штурмом брать.
Но в вашу песнь победы не вплетался
тот крик, что сквозь решетки раздавался.

Шесть тысяч в тюрьмах говорят: «Откройте!»
И призывают вспомнить заключенных
в Щипёрно, в Хуце. Так и вы не бойтесь!
Я верю в торжество и дух сплоченных.

Вам Польша не досталась просто даром,
вы заплатили за свободу, славу.

Из-под копыт полиции, жандармов
вы вырывали гордую Варшаву.

От вас орлы двуглавые летели.
Вы заглушили стук и звон кандалный.
Но почему сегодня вновь при деле
в своем участке комиссар Кандалный?

И вот опять – да здравствует свобода!
Варшава встала в пулеметном дыме.
Но почему опять в крови народа
каналы те же самые? Кто с ними?

Кровавая река течет по маю,
по улицам, в полиции участках.
Я заклинаю вас, я заклинаю:
послушайте растоптанных, несчастных.

Штыки вонзите в эти стены смело!
Откройте тюрем сумрачные своды!
Варшава, слишком долго ты болела.
Вдохните запах огненный свободы!

Нике

I

На морях, на морях далеких,
над строем военных флотилий,
на широко развернутых крыльях,
на легких,
венчая корабль величавый,
всем ветрам подставляя тело, —
ты греческим кормчим шумела
бурею славы.

Твоих уст горячий выдох
поил тысячи грудей.

А потом лежали груды
юных, убитых.

О, значит, было надо,
чтобы меч разил распростертых, —
свободой сынов своих мертвых
повила Эллада.

II

Нике! В будничной давке
ты стала от нас далека.
Каменная, на подставке,
ты в Париже стоишь века.

Но, гневно стопою топая,
ты крылами рвешься в полет,
и мчится твой вихрь по Европе,
и кровь в моря течет.

Но наш образ не врежут в мрамор,
не умчал нас взмах твоих крыл:
век за веком берут задаром
нашу песню и кровь и пыл.

Мы солдаты без славы. Трудно
нам счета свести с судьбой;
цепями прикованы к судну,
мы должны влачить нашу боль.

Мы гребем по течению Леты.
Но берег твердый где ж?
В нашем взоре скрыты стилеты,
в нашем сердце таится мятеж.

И за тысячным бедствием — знаю —
мы окончим кровавый путь:
за иною победой иная
раскуёт нам Греция грудь.

III

Из-за морей нам слышны стоны,
колонн военных тяжкий грохот,
а в небе рокот исступленный:
то самолеты над Марокко.

И снова лязг винтовок, щёлк их,
и снова строй штыков разверзся:
кровь алая Китаев желтых
течет до Индий и до Персий.

За углем, нефтью и рудою
сквозь кровь влекутся чьи-то руки,
живой поток растет грядою, —
все больше крови, больше муки.

Европа! Ночь висит глухая.
Но сон нейдет в глаза пустые,
дрожишь, как Макбет, кровь смывая, —
гляди: лес виселиц в Софии.

Чтобы спугнуть повсюду сон твой,
труп с Марны тянется упорно.
Гляди: корабль на горизонте, —
то «Князь Потемкин» с флагом черным.

Дрожи! Версаль – не помощь: поздно!
Напрасны флаги, рык оркестров;
вон руки труб подъяты грозно:
Баку, Домброва, Рур, Манчестер.

Уж над Парижем, над Варшавой,
как буря, мчится в грозном клике,
расправив крылья новой славой,
стремясь к победе новой, – Нике!

Поэзия

Ты вся в белом приходишь снова,
как жасминная полночь в мае,
и жасминный запах у слова, —
сон, как месяц, плывёт, сверкая,

ты плывёшь сквозь просторы ночные,
как листва, что во мраке сокрыта,
шепчешь сны и слова потайные,
словно ливнем, словами омыта...

Мало! Мало! Как этого мало!
Ложь в словах! И туман! И бессилье!
Надо, чтобы душа запылала,
чтоб у каждого выросли крылья!

Нету проку нам в слове туманном.
Слове тихом. Холодном. Рутинном.
Ты нас к маршу зови барабаном!
Жги нас словом! Бей песней! Взвей гимном!

Где-то люди живут без унынья,
где-то дни их текут без мученья.
Дай нам слово насущное ныне,
рядом встань и труби наступленье!

А весталок нам белых – не надо,
не погаснет священное пламя —
будь как знамя среди канонады,
будь как факел, горящий над нами!

Нашу речь измени, чтобы пелось
нам и жарче, и проще, и строже
чтоб любовью душа загорелась.
Больше боли – и радости тоже!

Чтобы всех твоя арфа будила,
чтоб покорны ей были перуны,
вырви наши последние жилы,
натяни их на арфу как струны.

Змей стегать надо песней до смерти,
их шипенье глушить, не жалея.
Жизнь, что краше стихов, – есть, поверьте!
Есть любовь. И она одолеет.

И тогда ты нам слово отыщешь
и простое, и тихое очень,
и в бессмертие взвеешь погибших,
словно флагов разорванных клочья.

Песнь о гражданской войне

Вступление к поэме

Взгляни! Еще на небе мрак,
но день, огнем своих атак
прогнав войска разбитых туч,
встает, прекрасен и могуч!
И солнце – в медной каске воин —
дню салютует перед боем.

Внизу, над краем горизонта
из мрака выплывает контур
огромной тенью дерзновенной:
корабль-гигант, весь в брызгах пены,
окутанный седым туманом,

среди сонной бездны океана
плывет и вырастает скоро
в зловещий образ – грозный город.

И я не раз шел напролом
с венцом из дыма над челом
по улицам и по заставам
недвижно-каменной Варшавы,
и в те часы слова росли,
как исполины-корабли,
как город каменный, простой,
как ночь с бессонной темнотой,
слова росли: чем путь длинней,
слова все тверже, все ясней.
Я слышал улиц грозный вой,
живое сердце мостовой,
гул, наболевший и фатальный,
и скорбный крик на Театральной,
дыханье гневное разбитых,
чья кровь пятном легла на плиты.

Я сердце города услышал —
и слово возносил все выше!

Мне ведом города порыв,
дрожанье улиц, их призыв,
когда гудки протяжным свистом
ударят в окна утром мгlistым
и люди в сумраке гурьбой

выходят в город мрачный, злой
с судьбой жестокой, жесткой долей
в ленивый дым над черной Волей.

Вдруг молоты в движенье быстром
над наковальнями повиснут,
и в миг один все рухнут разом,
разбрасывая искр алмазы,
и заторопятся все вдруг
под натиском железных рук:
должны работать ночи, дни
трансмиссии и шестерни;
упругость надо рельсам дать,
их сталь должна огнем сверкать,
они во все углы развозят
сердца стальные паровозам,
стальные ребра для мостов
и руки мощных рычагов;
их стали нужно дать упругость,
они развозят черный уголь
для пасти доменных печей
и мощь, и гордость для людей!

В цехах фабричных жар и копоть,
в цехах фабричных шум и топот.
Машины в беге дерзновенном
дыханьем гневным бьются в стены,
готовя грозное отмщенье
рукам, приведшим их в движенье,

но как ни напрягают бег,
их заставляет человек
еще ускорить свой размах,
чтобы гремел на всех станках
под грохот молотов живой
закон железный, вековой.

Всю жизнь в борьбе глухой, жестокой
немеют руки, блекнут щеки;
в дышащем пламенем аду
глаза в крови и взор в бреду.
Всю жизнь в борьбе неравной падать,
забыв про песни и про радость,
а трубы раскрывают пасти,
чтоб проглотить людское счастье,
и лентой дым плывет унылой
над городом – живой могилой...

В машинном лязге – слышишь? слышишь? —
несется песня. Громче. Тише.
Издаেকে опять прорвется
и в сердце близко отзовется...
Шипит расплавленный металл,
в его шипенье – песни шквал,
ее сердитые раскаты.
Как пламя, подползет и схватит,
как волны, набежит прибоем,
как вихрь, закружит и завоюет,
и вдруг все окна распахнутся,

и с петель двери все сорвутся,
и вдруг над улицей взметет
и красной молнией сверкнет!

О песня гневная, плыви,
и грудь дыханьем разорви,
и взвейся, взвейся над толпой,
как сокол смелый, молодой!
Над гулом города, машин
крылами вольными маши,
буди сердца людей уснувших
для новой жизни, жизни лучшей!
Твой свет в ночи кровавой брезжит.
О, песня гнева, ты – надежда!
Лети, несись над сонным краем
и расцвети зеленым маем!
Плыви, как облако, над полем,
где сердцу – радость, взору – воля,
зеленым лугом, лесом, Вислой
сверкни над пашней яркой искрой,
спустишь на фабрики и в штольни,
громами крикни: «Эй, довольно!»
Ударь набатом: «Смерть магнатам!»
Звени сердцами: «День расплаты!»

.....

Как тяжело говорить мне с вами,
ведь сердце сожжено словами,
но не иссякнет слёз родник,
и песня радости возникнет,

и то, что я любил мятежно,
сердце людских коснется нежно...

Сегодня в песне гнев и стоны,
но я пою, чтоб миллионы
суровым гневом напоить,
в одно большое сердце слить
и бросить в мир —
как тяжкий молот.

Ноябри

Жизнь идет. Я срываюсь и падаю.
А в груди – словно рвется ветер.
Ноябри, ноябри-листопады
тянут черными пальцами ветви.

Прель и шелест, этот запах пьяный
отравили сердце волнением.
Я дышу осенним туманом,
существую ветром осенним

и слоняюсь по городу старому,
по осенним черным проулкам,
и затягивают тротуары
в полумглу, сырую и гулкую.

С губ слова срываются пламенем,
весь дрожу, как будто в горячке, —
то свисают руки, как каменные,
то знобит... От себя не спрячешься.

Нет исхода, нет исхода, нет исхода...
Переулки глубже, глубже и длинней...
Я, как ветер, шевелю ночную воду,
обрываю листья ветвей...

Эта мгла глаза проела болью,
рвется сердце от тоски осенней,
голубым огнем алкоголя
полыхает во мне мученье...

Видно, нужно мучиться вечно
и кружить по проулкам без меры,
чтоб ночами, толпой бесконечной,
гнались за тобой твои химеры,

видно, нужно срываться и падать,
чтобы грудь раздирали ветром, —
в черных пальцах вечную радость
давят черные голые ветви.

Круженье, круженье, круженье...
Или всё это бред, всё зря?
Это просто – листья осенние.
Это – пахнет земля.

Травы

До утра – бессонницы сквозные,
ночь над сердцем – крышкой гробовой...
Пахнут кладбищем думы ночные,
чабрецом и полынь-травой.

Я срываю сорные растенья,
дорогие мне тем, что просты,
и от слов моих над городом тени
вырастают, как черные цветы.

Говорят они, что радость отблестала,
как рассветная роса на земле,
что склоняюсь головой усталой,
словно солнце в кровавой мгле...

Я спокойно иду на запад
в пустоте померкшего дня.
Горьких трав кладбищенский запах
из минувшего овеял меня.

Слышу я, как на тонком стебле
колокольчик звенит струной,
и зловещая тень, колеблясь,
наклоняется все ниже надо мной.

Над закатным пепелищем туча
распласталась, точно лист лопуха.
В дудочку будильника тягуче
свищет вихрь, но тишина глуха.

Кровь заката багрянеет, будто
гроздь рябины сквозь темную синь.
В сердце расцветает цикута,
горечь губ мне осушит полынь.

А шиповник веткою терновой
врос в меня, чтоб я уйти не мог,
оттого исходит кровью слово,
молодость болит и сон далек.

О, как травы пахнут щемяще,
как протяжно пустота гудит!
Черный ангел, крыльями шумящий, —
надо мной бессонница летит.

Сердцу страшно в полночи могильной
помнить все и позабыть о сне...
Эти строки я писал насильно,
эти строки – только обо мне.

О себе самом

Умею без промаха бить по цели,
умею стоять под огнем спокойно,
слова мои могут ранить смертельно,
подобно свинцу в бушующих войнах.
Слова мои блещут, словно кинжалы,
когда я в сердца их людские вонзаю,
и, вихрем взметнувшись, чтоб все дрожало,
врываюся в души, преград не зная.

Известно ли вам, как рвутся снаряды,
сметая колонны, цветы и травы?
Я дам вам слова, что свинцовым градом
будут вгрызаться в пурпур кровавый.
В дни поражений и в дни измены,
среди голода, мора, огня,
когда содрогнутся души и стены,
знайте, не дрогну я.
И подниму я над шествием вашим
знамена красные слов,
и песня моя сольется с маршем,
с поступью ваших рядов.

Сердца, как молоты,
дружно ударят.
Солдатская поступь,

запах гари.
Гром работы,
порыв единый,
призывы песни
взлетят над пучиной.

Слава отважным,
жаждущим слава!
Бурлит и клокочет
людская лава.

Радость единства,
земля молодая,
плещется зелень,
благоухая.

Сверкай лучами,
солнечный вестник!
Расправь свои крылья,
вечная песня!
Срази меня, песня,
ты будешь права.
Меня сжигают
мои слова.

Пока не настанет мой час последний,
пускай пылают мои слова.

Шахтер проникает в забой глубокий,
тяжелые глыбы угля вырубая.
А я вырубая суровые строки,
слова, что в сраженьях не погибают.

Набатом над вами они загудят
и в радостный мир поведут за собою...

Останусь один я, словно солдат,
покинутый всеми на поле боя.
Кто знает, как трудно, и больно, и страшно
бить в свое сердце, как в барабан!
Меня эти песни изранят на марше,
чтоб алчущим кровь мою выпить из ран.

И после, быть может, никто не услышит
песню мою последнего дня...

И я, усталый, шепчу все тише,
шепчу напрасно: спаси меня.

Шпион

Взгляните во тьму: шпион крадется под окнами,
маячит, как бред, уж часа четыре – иль пять, —
вдруг возникнет в дверях, —
за ним полиция в сапожищах кованых:
– Руки вверх! Ни с места! Общайте! Молчать!

Тебе примелькается эта рожа, не бритая с неделю, —
серая, мутная, словно окна грошовой обжорки, —
взгляд пустой исподлобья, ухмылка злодея,

крючковатые пальцы... И запах из пасти
прогорклый.

Был он свой при царе, и при немцах, и в органах
польских, —
только слово скажи – он уж вертится, он уж на страже,
он нашепчет кому-то из наших товарищей:
«Завтра – на Вольской»...
Только завтра – он сам на него грязным пальцем
укажет,

а потом добросовестно-тупо исхлещет по морде,
так что выплюнешь зубы да весь тротуар
закровавишь, —
а за подвиги – отпуск, деньжата и орден.
И – гуляй вольной птицей по вольной Варшаве!

Ввечеру будет водку хлестать в ресторане,
будет модные фоксы гнусавить, оценит все сальные
шутки...
Что иудины деньги? – Дешевка! Он скупиться
не станет
и по-царски оплатит жратву и покорную плоть
проститутки.

...Он повсюду. Он вечен. Он – ухо стены. Замолчи!
Он чистейшие речи готов оплевать матерщиною.
Это он у поэта похитил наброски в ночи,
это он доказал, что в ночи ваши слезы – фальшивые.

Всюду он. Бесполезно метаться, стенать и кричать,
и горстями разбрасывать сердце живое задаром:
всюду сети и сетки. Он сумеет кусочки собрать
и, как бомбу опасную, тут же доставит жандармам.

Взгляните в окно: идет октябрь, промозглый
и блёклый,
как пальто у шпиона, как рожа без глаз...
Застилают нам взор эти серые, мутные стекла.
Наша краткая юность – фальшивый товарищ —
уходит от нас.

Ночной гость

Памяти Сергея Есенина

Зачем ты стучишь в окно мне
ночью душной, бессонной?
Под шагом твоим скрипит и стонет
пол в проснувшейся комнате.
Подходишь, становишься рядом,
над кроватью склоняешься,
обводишь ослепшим мертвым взглядом,
ледяной рукой прикасаешься.
Трогаешь влажной ладонью
расплывшийся круг на рубахе,

говоришь мне: «И ты дотронься»,
говоришь мне: «Коснись губами»...
И снова, и снова, и снова
маячишь призрачной тенью,
стих безумный слово за словом
кровью выводишь на стенах.
Ах! В глазах у меня темнеет,
сжимается грудь от боли.
Уходи, уходи скорее,
не надо стихов этих больше!
Каждую ночь, не переставая,
голос твой над моей кроватью,
как больного ребенка лаская,
шепчет эти стихи-проклятья.
Не можешь забыть их, не хочешь
поискать веселые строчки —
и вот ночами ко мне приходишь,
молча стоишь и смотришь.
А утром вновь останусь один я,
будут глаза болеть от бессонницы.
Тогда я замечу свисший шнур от гардины
и раскрытую бритву на подоконнике...

Минуты

Руки скрещу и глаза опущу,
снова о прошлом своем загрущу,

бурею осень стучится в окно,
снова увижу, что было давно.

Прошлое вновь пред глазами предстанет
где-то вдали, по-иному, в тумане;
снова вернутся тоска и волнение:
шагом знакомым пройдешь, как виденье.

Снова в глазах и словах заблестит
свет, что в руках твоих розовых скрыт.
Новью цветы расцветут, как когда-то,
в комнату хлынут, пьяня, ароматы.

Взору бессонному явится тело,
точно цветок табака побледнелый,
ночью сырую, серебряно-мглистой
месяц лукавый заглянет сквозь листья...

Сны беспокойные, сны непонятные —
всё отцвело, окна заперты наглухо.
Лирика горькая! Песнь начинается —
в сумраке черные крылья качаются.

Бесы

Ночью кричу я, окно разбиваю —
кровь из порезов рекой потекла...

Слева и справа меня окружают
хитрые бесы, исчадия зла.

В мраке – сиянье зелёного круга,
улицы мчатся слепою волной,
движутся бесы фонарные цугом,
пламенем синим струятся за мной.

Кровь со слезами мне взор застилают;
бесы хохочут, оскалив клыки,
в спину рога мне с размаху вбивают,
топчут надежду и рвут на куски.

Бесы земные мне роют могилу,
звёздные бесы пророчат беду.
Пусть посинею, потрачу все силы —
вырвусь. И в ноги к тебе упаду.

Серебряное и чёрное

Я терзался, проснуться пытаюсь, —
сон хватал и тащил назад,
и, безумьем моим изнутри прорастая,
те слова всё больше болят.

Мой язык и коряв, и туманен —
не шепчу, а плачу во сне, —

и болят те слова, изнутри меня рая,
и от них еще хуже мне.

И все больше безумья и крика,
сердце вязнет в тенётах смут,
лишь слова эти льются и гневно, и дико,
и во мне как колокол бьют.

Может, скоро, дремотой охвачен
и не слыша шагов твоих,
словно в гроб серебряно-чёрный, упрячу
я тебя в сумасшедший стих.

Ночью

Горестной ночью даже светильни
Плачут, слезятся газом обильно
И над домами, как над гробами —
Мертвые сами – плачут над нами.

Ты же, поэзия, в горе великом
Ночью зовешь нас плачем и криком;
Горькие речи – чёрные плиты:
Давят, кровавят тёрном увитых.

Так приходи же чудно и смело,
Чтобы сердца нам вырвать из тела,

Чёрных просторов дай покрывало,
Чтоб твоё пламя нас не терзало.

Комета

Ах, спутанные мысли – сплетение вздора!
Ах, слово приговора – невнятица злая!
Сквозь ветер продираясь, клонюсь от напора,
печаль во мне, как ветер, гудит, не смолкая.

Во сне брожу бессонно, и в этом блужданье,
как свечка, угасаю – сгущаются тени,
и длится серебристых созвездий молчанье
над песней и над болью моих сновидений.

До дна, дотла я должен сгореть – не иначе,
как искры, что блуждают по млечным проселкам,
и падать мне – звездою, больною, горячей,
кометой снов недужных, ненужным осколком.

Не пойму

Что мне надо, чего не надо,
не пойму того никогда я...
Я топчу слова беспощадно

и, окрасив кровью, бросаю.

Нет! Не выражусь я напевом,
не сочту я все звезды неба...
Одержимый болью и гневом,
боль кричу и горю от гнева.

Никогда понять не смогу я,
что за сила мной овладела,
диском солнечным четвертует,
оковала радугой тело.

Убежать мне, вырваться надо,
избежать сумев пораженья...
Как вернуть мне юность и радость,
где ж любовь, что почти спасенье?

Тёмный круг

На лету наклонился,
круг чертя надо мною,
чёрной бабочкой взвился,
ослепил чернотою

и кружил неустанно,
сонно, мрачно, нескоро,
после вспыхнул – и канул —

и столкнул меня в морок,

мне пылать повелел он,
петь – звездою незрячей,
ветром заледенелым,
красной кровью горячей.

Глаза

Белоцветную ветку мая,
словно стяг, подниму над собой!
И глаза мои радость узнают —
взлетят в небосвод голубой!

Тёплым шумом, ветрами хмельными
будет пронизан простор!
Будет небо, как женское имя,
Как очей её горестный взор.

Небо тяжкой тоской раздавит,
будет в мае октябрьский закат,
а глаза – припомнить заставят,
глянут сладко – и вновь победят.

Для меня спасенья не видно,
боль в словах – исцелить нельзя...
Как собаки верны, беззащитны,

ко гневу прильнут глаза.

Гадание

Валет от безнадёжной любви к тебе великой —
гляди! – два сердца вынул, затем проткнул их пикой.

Вот мчится к королю он в бубновом экипаже;
вещают трефы горе – а он не знает даже.

Он на опушке леса... Въезжать туда – опасно...
Не знает он: с тобою – блондин бубновый, ясный.

А у того – червонный, желанный, сладкий голос...
Но светлый, золотистый сожги над свечкой волос —

и вмиг узнаешь правду: блондин тебя морочит,
давно влюблён в брюнетку, тебя уже не хочет.

Тебя сгубить брюнетка была бы очень рада.
Её ты опасайся. И пить вина – не надо!

В вино подлиты слёзы. Те слёзы – ядовиты:
из всех сердец червонных с жестокостью добыты.

Валет, от горя пьяный, по снам упрямо рыщет —
он в трефах, в пиках, в бубнах напрасно сердце

ищет.

Чары

Распахнулись тумана груди...
Еле слышно шурша тростниками,
месяц выплыл из бора и стал над запрудой —
там где в сумерках девы купались.

Мягко в волосы – белых лилий
заплетали бутоны-корзинки.
Под покровом небес, что прохладу разлили,
так приятно стряхнуть росинки,

молодые подставить груди
колдовскому зеленому свету,
к зову леса прислушаться: что же будет,
чем деревья из тьмы ответят?..

Дуновеньем ночным безмолвье
проплывет над водой замутнённой.
В эту ночь молоком расцветают и кровью
их тела, словно лилий бутоны.

Но тревога и страх всё ближе,
и коснется грудей стыдливость —
и серебряный месяц жутью облизет,

стан облепит слюной тоскливой.

И, очнувшись от приторной лени,
девы с дрожью обхватят плечи,
а вода уже не отпускает колени,
а глаза затмевает млечность.

С криком будут кататься по травам,
одурманенные кошмаром, —
месяц плетью серебристой тела окровавит,
а земля лишь умножит чары.

Вершина

Неподвижна, надменна, зла,
заколдованным сонным ликом
мглу и тучи она рассекла
и исходит каменным криком.

Высылает орлов из гнезд,
молнии швыряет руками,
и, пробитые гвоздями звезд,
очи в бездну летят, как камни.

Гнев и радость схлестнулись здесь,
бури вволю попиrowали!
Камень с пропастью, с вихрем песнь

в хор сливались на перевале.

Как вершину, красу вознес,
чтоб туманом ее не скрыло...
Там заря растеклась от слёз,
там – тоскливо...

Победа

Слово мое созрело,
слово мое расцвело,
сильный иду и смелый,
гордо подняв чело,

никому никогда не покорен,
молитвы моей не услышишь,
слово свое, как топор,
поднимаю все выше и выше.

Слово мое все ясней,
восторженно и открыто:
сердце, от страха не цепеней,
сердце, будь тверже гранита!

Грудь все шире и шире!
Слово пуцу, как стрелу:
взлети, звезда, над миром,

озари вековую мглу!

Вздуваю пламя пожаров,
чтобы мрак исчез бесследно.
Мир, с твоей гривы старой
песню сорву – для победы!

О весне и о смерти

Им уж недолго звенеть для меня,
птицам весенним в небе высоком;
потоки, бурлящие пеной, гоня,
ветер несется полем широким.

Выйду в долины, выйду в дубравы,
глаза погружу в тишину и даль,
снова увижу молодость славную
в цветах, на которых весна и печаль.

Вам, незабудки голубые, прибрежные,
подснежники тихие, снега белее,
поет мое сердце, кроткое, нежное,
о том, что любил я, о том, что лелеял.

Молодо, молодое, страха не зная,
смело и ясно взгляну я на свет.
О, как высоко вдаль простирается

май бесконечный, май моих лет!

Знаю, не раз расцвету еще маем,
песни потоком грудь всколыхнут,
синюю бездну глазами пронзая,
смерти в лицо я еще загляну!

О радости

Над тихой голубой водою
небо голубое и тихое.
Зашумело зеленое, молодое
по небу зеленым вихрем.

Где же ты, ветер зеленый,
над какими шумишь полями?
Еще в росах калины и клены,
и глаза залиты слезами.

Зашумела синева на склонах,
золотыми лучами светится,
вдаль – молодое, зеленое —
несись, мое сердце, мой ветер!

Несись в шуме шальном, зеленом,
дождем радости золотистым!
Зеленым калинам и клёнам,

тебе и мне песни лучистые.

Тревога и песнь



Элегия на смерть Людвига Варынского

Если ты не страшишься песни,
невеселой, скупой, придушенной,
если муж ты душою и если
песню вольную любишь, – послушай.

Ширь земная не знает границы,
тщетно мысль охватить ее хочет.
А по шири земной – темницы,
а в темницах – тоска, одиночество.

Вот уж ноги опухли – как брёвна,
вот уже дёсны цингою изрыты,
и лицо все бледней и бескровней,
только пламя во взоре открытом.

Март. Весна. Небеса все яснее.
День встает в тишине непробудной.
Но дышать все трудней и труднее
и о смерти подумать трудно.

В этой камере, мраком объятай,
вдруг он слышит товарищей пенье,
шлиссельбургских мрачней казематов
и грозней шлиссельбургских видений.

Слышит песнь, пронзенную гневом,
и твердит он невидимым братьям,
как твердил он когда-то в Женеве:
«Дорогие, мне надо обратно...

В Лодзь обратно, в Варшаву, в Домброву...
Не сломили меня эти годы...
О, я должен вернуться... быть снова
вместе с партией, с польским народом...»

Вновь безмолвье кругом гробовое,
точно нить, его мысль оборвалась,
и застыло лицо восковое,
и в глазах только пламя осталось.

Где-то в небе рассыпалась стая
птиц крикливых, зловещих и черных,
словно шрифт, за которым простаивал
он ночами в подпольной наборной.

Фабрика Лильпопа... улица Злота...
и Журавья... все спутаны явки...
ах, работа... как много работы...
павильон в цитадели варшавской...

Но отхарканным легким не больно.
Смерть в «глазке» сторожит непробудно.
О, с такую тоскою по воле
умирать так мучительно трудно!

И горит его взор, догорая,
если ж искры последней не станет,
мысль его, словно факел пылая,
подожжет пусть тюремное зданье!

Еще раз повернулся... И снова:
– О, я должен...– Опять улыбнулся.
Захлебнулся последней кровью.
И скончался. В отчизну вернулся.

Лёгкая атлетика

Олимпийцы, атлеты,
мировою овитые славой,
услышите ль голос поэта
в час бойни кровавой?

Не каркаю, как ворон крылатый,
не вещаю вам, как пророк,
не актер я и не декламатор —
я слышу предгрозовые раскаты,
я чувствую – близок срок,
когда лава польется из кратера.

Рекордсмены и чемпионы,
футболисты, боксеры, стрелки!

Это вам раздадут патроны,
это вам раздадут штыки.

Это от вас отваги потребуют,
это для вас мундиры шьют
в Европе, где миллионы без хлеба,
где правит диктаторов кнут.

Это вас, не видевших света,
погонит по трупам зверье
в заморские колонии, в Страну Советов
за рынками сбыта и за сырьем.

Это вас в мир отчаянья вышлют,
здоровых, красивых и молодых,
обогащать военную промышленность,
умирая в окопах сырых.

Нужны будут годы страданий
для тех, кто не будет сражен, —
груды трупов на поле брани,
море слёз матерей и жен,

чтобы вы из последних сил,
когда вновь вас на бойню отправят,
повернули штыки свои в тыл,
против тех, кто вами правит!

Прислушайтесь к голосу брата,

молодых олимпийцев полки,
прежде чем разорвут вас гранаты,
прежде чем вас растерзают штыки.

Пусть настигнет мой стих вас огнем своим
посреди кровавого стадиона —
как гладиатор, он неустрашим,
выступая один против миллионов.

Хочу, чтоб вас не опутали ложью,
чтобы правда глаза вам раскрыла
за минуту пред стартом, быть может,
перед прыжком – в могилу...

Домбровский бассейн

Безмолвная шахта Домбровы,
очнись и скажи свое слово!
За гневом, что тверд как гранит,
пусть в недра твои моя песня летит!

За гневом, как винт упругий,
глубже вонзайся в твердь!
В штреках Домбровы – уголь,
в штреках Домбровы – смерть.

В штреках, тьмою объятых,

горек горняцкий труд,
в грязных приземистых хатах
призраки-люди снуют.

Уголь в Домброве – закон,
уголь решает и правит,
ночью горит горизонт
заревом грязно-кровавым.

Отдыха нет никогда,
каркают черные краны,
гулко гремят поезда,
уголь везут беспрестанно.

Известью белой кропят —
может быть, кровью? – вагоны.
Ждут паровозы, сопят,
рвутся, дыша учащенно.

Шлет их Домброва за хлебом,
шлет за наживой Домброва...
Искры под сумрачным небом
россыпью выются багровой.

Уголь она посылает,
запад и юг его ждут,
вместо угля получает
голод, болезни, нужду...

Кто же тебя, Домброва,
может назвать отчизной?
Смотрит Домброва сурово
в черную ночь фашизма.

Грозны шахтеров лица,
знают, кто враг и кто друг им.
Стражем стоит полиция,
выше – лишь бог и уголь.

Кризис все злей, безнадежней,
жизнь тяжелее и горше.
Каждый горняк – мятежник,
каждый дом – заговорщик.

В штреках Домбровы – уголь,
в штреках Домбровы – смерть.
Песня, винтом упругим
глубже вонзайся в твердь!

Всем, кто унижен и беден,
будет пусть порохом слово,
На Гуту Банкову, на Реден!
К бою! Готовы? – Готовы!

Баллада о Театральной площади

Ночь. Мгла. Бессонный шум столицы.
Ты, тень, постой со мною малость.
Кто скажет нам – чего страшиться,
о чём теперь жалеть осталось?

Текут часы, как воды в Висле,
шумят – о чём же? О покое...
Текут часы, толпятся мысли:
мы с тенью – что же мы такое?

Я – плут эмоций, слов смиритель,
поэт – иль только клоун глупый?
Ночной бродяга? Исполнитель
на мнимой сцене роли трупа?

Быть может, бросить кладовую,
где хлам бесплодных снов хранится,
на площадь выбраться большую,
где ход истории творится?

Пусть не смолкает шум столичный
на этой площади безмерной —
тут если стон – то стон трагичный,
тут если шаг – то шаг предсмертный.

Звук долетит со дна преданья,
и – стон камней, и в сердце стоны:
блеск сабель, крики, приказанья,
«Ура!..» И скачут эскадроны!

Галоп казачий, топот, пули —
и станет вмиг подобьем ада
рука – пятёрка пальцев-улиц
с кирпичной лирою фасада.

Но нынче – «Лоэнгрин» в программе,
про Пятый год – не слышно пенья...
Сквозь мрак неслышными шагами
идёт шпиона привиденье.

И там, на площади широкой,
где вход в полицию сыскную,
упырь застыл – и ждёт до срока,
меня и песню нюхом чуя...

Со мною драка неизбежна,
но он страшится – и резонно...
(Шаги вбивает в мрак кромешный,
как гвозди в гроб, солдат бессонный.)

А если под личиной скрытый
шпион безличный, бестелесный —
на самом деле знаменитый
властитель дум, стране известный?..

Да кто же ты? филёр, губитель —
иль близкий друг, соратник бывший,
поэт, оратор, вождь, мыслитель,

всю Польшу гением затмивший?

Ты кто?.. Пропало привиденье,
ушло туда, во тьму дверную,
но мысль спешит вдогонку тени —
лишь трупы, трупы в Польше чуя...

Ночь. Мгла. Бессонница. Ни слова...
Театр, как лиру, взять бы в руки,
на площадь бросить из бывшего
гробов грохочущие звуки!

Все, кто погибли, все, кто живы,
пускай, горланя что есть силы,
придут сюда – из дефензивы,
из тюрем, моргов, из могилы!

Пусть ввалится кортеж шумящий
тех, кто расстрелян в цитадели!..
Упырь, у той же двери бдящий,
вновь револьвер в толпу нацелит...

Предаст, продаст и изувечит,
чтоб шанса не давать надежде,
запутает слова и речи
и победит толпу – как прежде.

Стоять он будет над телами,
как будто памятник злодеям,

пока мы этой бойни память
из сердца вырвать не сумеем!

Был год двадцать четвёртый, пятый,
шестой... Я шёл сюда с толпой,
и каждый раз упырь проклятый
свет затмевал передо мною.

Вопили улицы, пустея,
а я – я видел лишь вампира:
он тут стоял – и труп в шею
впивался у кирпичной лиры.

Годами здесь творится, рядом,
повтор мистерии кровавой,
упырь мне песню травит ядом,
чтоб яд обрушить на Варшаву.

Я с ним не прекращаю боя
за площадь, лиру, город трупа,
и сердце достаю живое,
кровь упырю дарю нескучно.

Напьётся крови тень измены —
и песнь моя без опасенья
помчится в город вдохновенно,
сзывая толпы на сраженье,

на плаху площади безмерной,

где и у камня – голос зычный,
где если шаг – то шаг предсмертный,
а если стон – то стон трагичный.

Законодателям

Памяти Сакко и Ванцетти

Тебе мой гнев и презренье,
культура тлена и плесени!
Религия крови и преступлений,
тебе ль зародить во мне песни?

Захлестнутый крови потоком,
я в кровь окунаю напевы.
И, как электрическим током,
пронизан я искрами гнева!

Америка – тупость и сытость,
Европа – слепая и кровавая,
надолго ли вами убиты
законы свободы и права?

Мировые рекорды побили,
тракторами поля ваши вспаханы,
но грозите, как прежде грозили,
электрическим стулом и плахою.

На трупах людских воздвигали
вы своды свои и колонны
и душу людскую втоптали
в бетонную яму Бостона.

Мильоны вы предали казни,
теперь казнены еще двое.
Рукою кровавой и грязной
хотите душисть все живое!

Земля, ты наелась досыта
сраженными грязной войною,
воспрянешь, их кровью омыта,
и станешь навеки иною!

Мне видится завтра в лазури.
Насилье насильем подавим!
Привет вам, грядущие бури
и день, что победой прославим!

Лодзь

Давят сердце злоба и песнь.
Злобу в сердце стисни и взвесь,
песнь, как камень, вырви и брось...
В черных дымах просыпается Лодзь.

Утро гудками плачется рано,
трубы грозятся – руки заводов.
В стеклах багровых дни наши – раны,
падают ночи каплями йода.
Пусть эти капли гневом обильным
день наш наполнят, болью сжигая.
Станут машины, станут прядильни,
пряжу с катушек смерть разматывает.

Злоба – искра в сердце нагом,
давят сердце кровь и огонь.
Черным дымом оно вознеслось
песню-искру бросить на Лодзь.

Кровь ли, огонь ли – на позолоту.
В кассах разбухших скачут бумаги,
стонут машины спешной работой,
кормятся жирно Лодзью делеги.

Им – на потеху день наш горячий,
нам – на асфальте в спину копыта.
Копится в небе черная туча,
встанет громами Речь Посполита.

Давят сердце воля и мощь.
Дунь на искру, кинь ее в ночь,
втисни в сердце ветер и злость —
завтра новой проснется Лодзь.

Искрой прорежет весть наши речи,
фабрикам ткацким – остановиться.
Вдоль Петроковской – толпы рабочих,
в небо взовьются красные птицы.

Нас ли задержат вражьи угрозы!
Цель наша близко. Путь наш – короткий.
Радуйся, сердце! Песню для Лодзи
гнев у цензуры выдрал из глотки.

Бакунин

Ведет пером рука сухая,
склонилась низко голова.
Под пышной гривой профиль льва.
В дверях застыла тень большая.
А лампа льет свой свет неверный.
Ночь звездами озарена,
гнетет немая тишина.
Мороз. Ночь. Снег на крышах Берна,
пушистый снег лежит на крышах.
Бакунин пишет.

Рука сухая. Грива льва.
И тень в дверях грозна, жива.

И верится, она взнесется ввысь

и разразится вновь грозой!
(Все тяжелей рука и мысль,
все тяжелей водить рукою...)

Ночь, снег, звезда глядит в окно.
Дымится трубка. Чай остывший...
Он за Байкалом счастья ищет.
Бежать из ссылки мудрено —
но ускользает от погони.
Вот пароход – и он в Японии.

А там швейцарские метели
последний замечают след.
С тех пор прошло так много лет.
Как быстро годы пролетели!
Все глубже тишь. И мрак ползет.
Дымится трубка. Чай... – Ну ладно!
Но эта тень в дверях громадна —
сорок восьмой великий год!
И вот опять, как бы из бездны,
волнуя старческую кровь,
встает на баррикадах Дрезден,
и запах крови слышен вновь,
и песни прежние он слышит,
и топот миллионов ног...
О, если бы опять, как встарь,
бороться за весну народов!
О, если бы опять восстать
за всенародную свободу!

Вновь закричать бы: «Цепи рви!»,
чтоб прозвучала песня гордо,
как в ранних Вагнера аккордах,
и утопить бы тьму в крови!
...Погибло всё. Мир в черном крепе.
Последней Прага восстает.
Сорок восьмой закончен год.
Опять оковы. Ольмюц. Крепость...

(Там мыслью мерил он весь мир,
шагами камеру он мерил,
шептал в неколебимой вере:
«Свободу завоюем мы!»
Тогда он знал – бессильны цепи
в нем заглушить к восстанью зов,
и, обреченный на смерть в склепе,
он ждал и был к борьбе готов.
А вот теперь здесь тихий Берн,
пушистый снег так давит сердце.
«Тоска, не знал которой Герцен!
О, гнет тоски – он так безмерен!»)

Здесь в тишине, гнетущей нагло,
идут воспоминанья вспять.
И хочется поговорить опять
ему с Орловым с глазу на глаз.
Иное прозвучало б слово —
он не юлил бы пред царем,
предстал бы, грозен, разъярен,

зловещей тенью Пугачева.
Народный бунт, восстанье масс
он поднял бы из заточенья...
И не тая души волненья,
берется за перо тотчас.
Январь. Ночь. Снег на бернских крышах.
Насупив бровь, Бакунин пишет:

«Все, чем владею, вам отдам —
потертый плащ и мысль о воле.
Из чаши жизни пил я вволю,
вновь двинусь за свободой сам.
Расстанусь с тишиной швейцарской —
часовщикам она нужней.
Наверное, в Сибири царской
свет звезд и ярче и страшней.
Я побреду дорогой снежной
за ветром северным вослед,
что, непокорный и мятежный,
несется с бурей сотни лет,
земле и небу угрожая
и людям гнев свой завещая».

Парижская коммуна

Поэма

Elle ne se rend pas,

Стисни зубы, гляди гордо, голову
подними выше,
слушая о последних аккордах
Коммуны города Парижа.

I

Барабаны, барабаны всю ночь ворчали
до рассвета в ущельях улиц,
баррикады рядами встали,
просвистали первые пули.

Приступом брали ворота, форты,
смерть близко.
Улицы, как хрипящие рты,
выплывали кровь парижскую.

Но Коммуна с повинной не идет,
не страшат ее смерть и пожары.
Гневный Париж команду дает:
«К оружию, коммунары!

Рабочие, все к оружию —
матери, сестры, братья!

³ Она не сдастся, Коммуна Парижа (*фр.*).

Крови на улицах лужи,
но крови рабочей хватит!

Пока солдаты, как гунны,
не промчались по нашему телу,
на баррикады, Коммуна,
к оружию, граждане, смело!»

II

Красных ряды пошатнулись...
И вот, сверкая сталью,
в узкие монмартрские улицы
вступают солдаты Версаля.

И там, где в марте убиты
генералы Тома и Леконт,
офицер, напудренный, бритый,
кричит, обходя фронт:

«Солдаты! Вырвать с корнем
эту сволочь! Пленных не брать!»
Солдаты, как скот, покорны,
ставят к стене по десять в ряд.

Под стеной – залпов раскаты,
кровь под ногами, склизко...

Понуро глядят солдаты,
кепи надвинуты низко...

III

На кладбище Пер-Лашез каштаны зелены,
дышат маем потоптанные травы,
на травах трупы расстрелянных
«во имя закона, порядка и права».

Генерал Галифе, отдавайте приказы,
пусть стреляют солдаты – так велено!
По двадцать, по сорок, по двести сразу!
Пять, десять тысяч расстрелянных...

Генерал Галифе, за расстрелянных пачками
ждут вас от Франции почет и награда.
Генерал, сапоги у вас кровью запачканы!
Генерал Галифе, вы пропитаны смрадом!

На кладбище Пер-Лашез спускается вечер,
белая луна в сумеречном крепе...
Все кровью пропахло здесь человеческой!
Это не кладбище, а призраков крепость!

IV

Ночь зловеще лунная
застыла без движения,
тучей над Коммуною
нависло поражение.

Осталось уж немного
надежд и баррикад...
«На смерть – одна дорога,
и нет пути назад!»

Домбровский пал от пули,
Риго настигла месть,
на перекрестках улиц
расстрелянных не счесть.

И пьяны кровью алой
расстрелянной толпы
жандармы, генералы,
банкиры и попы.

Шагает по Парижу
их злобная орда,
тела на пики нижеет,
победою горда.

Париж, ты гибнешь с честью,
Коммуна не сдалась...
На улицах предместий
недаром кровь лилась!

V

«Гражданин Делеклюз, спастись вам надо.
Баррикада падет, верная смерть впереди!»
Встал, опираясь на палку, над баррикадой
старец седой с красною лентой поперек груди.

Шато д'О врагами захвачен. Правый берег
еще дерется. Левый – в версальских руках.
«Коммунары, вперед!» Площадь глазами смерил:
он один. Лишь ветер играет в седых волосах.

Медленно, опираясь на палку, взошел на баррикаду,
где сотни жизней версальский огонь оборвал.
Как капитан корабля, один над разбитой громадой
делегат Коммуны на кровавые камни пал.

Шум и стрельба. Банда версальцев, озаренная
пламенем.

Дорога свободна! Но что это? Стой!
Труп бессильный, точно древко без знамени,
а под ним – кровавое знамя мостовой.

VI

Стрельбою гремит площадь.
Горишь, горишь, горишь!
Умирая, и то не сдаешься,
окровавленный, грозный Париж.

Если путь к отступлению узок
и надежд на спасение нет,
за смерть своего Делеклюза
заложников ставь к стене:

епископ, банкир, шпион,
жандармы и иезуиты...
Сорок восемь... А у нас легион
расстрелянных и убитых.

VII

Сдержи свой крик,
смелее будь, —
версальский штык
пронзает грудь.

Пусть камень мокр —
в крови людской, —
двадцатый округ
продолжит бой.

Последний выстрел
еще далек.
Вот снова быстро
взведен курок.

Целься! Пли!
Зажги запал!
Штыком коли,
пока не пал.

VIII

Борись, баррикада!
Пади, баррикада!
Гневно вздымайся,
песнь баррикады!
Червоннокрылая,
грозной громадою,
птицей над трупами
мчись со снарядом!

Борись, баррикада!

Пади, баррикада!
Будет победа,
будет расплата!
Рабочие мира,
запомнить вам надо
великое дело
пролетариата!

Пади, баррикада!
Взвей знамя выше!
Ты, не сдаваясь,
погибла без стога,
последняя, грозная
в мертвом Париже,
непобежденная,
непобежденная!

IX

Тридцать тысяч под пулями пало,
сто тысяч заковано в цепи...
Крови не стало и сил не стало,
Париж помертвелый в траурном крепе.

На улицах всюду воззвания:
«День наступает, когда вы
найдете опять, парижане,

в столице порядок и право!»

Мостовая, разрытая для баррикад,
каменные зубы скалит,
залпы трещат, цепи гремят,
маршируют солдаты Версаля.

Буржуа, возвращайся в столицу,
воздай хвалу своему Иисусу!
Еще горят последних пожаров зарницы,
повсюду безлюдно и пусто.

Рембо

«О нет, не петь для тех, что праздно суетятся,
и не идти туда, где корчатся уроды, —
я песнею моей взлечу легко, как ястреб,
взлечу задумчивый, угрюмый и свободный,

вам не поймать ее погаными руками —
она взмывает ввысь, легко парит, но вдруг
с лазурной высоты срывается, как камень,
и кружится земля, и замирает дух...» —

так шепчешь ты, поэт, шагая в час рассвета
бульварами. Повис туман на гребнях крыш.
И чудится тебе, что Сена — это Лета

и скорбною ладьей плывет по ней Париж.

Послушай, подожди! Людской крови багрянец
растоптан сапогом ликующей толпы,
над трупами бойцов – тысячезадый танец
блующих, блеющих, рыгающее-тупых,

ты только приглядишься – о, сутенеров роты! —
вскипает в сердце злость, пронзает сердце боль —
ты слышишь голоса сквозь пьяную икоту:
«Поэт, поди сюда и петь для нас изволь!»

Бесовский карнавал душа едва ли стерпит,
ты в корчах разглядел удушья торжество, —
но этот же Париж гляделся в очи смерти,
когда гуляла смерть по улицам его.

В тени каштанов вырастают привиденья,
в весеннем воздухе еще дымится кровь,
а в сердце – тайный страх и пьяное круженье, —
что жеребчий смех иль жалобы стихов?..

Быть может, ястребок, ты отдал сердце миру,
в болото слез людских швырнув его с небес, —
и что ж? Вокруг тебя роятся лишь вампиры,
а те, кто нынче жив, – гниют на Пер-Лашез?..

...И не останешься ты в этой лодке мерзкой,
так тошно в скопище галдящих упырей!..

Прощанья – ни к чему. Уйди от них скорей,
такой задумчивый и равнодушно-дерзкий.

Уйди от них скорей. Ты – сын иных созвездий,
а мы – сыны Земли. Куда податься нам?
В изодранной суме возьми лишь гнев да песни,
а молодость свою – раздай морским ветрам.

Изгнание – навсегда. А мразь на этом свете
одним безмолвием презренья удостой...
Но, мальчик мой, скажи, как маленькой планете
вместить всего тебя, с раздумьем и тоской?

Параграф

Тишина была тяжкая, нудная,
мухи ползали по окнам.
Защитник, исчерпав красноречие скудное,
сел, протирая очков своих стекла.

Слышно было: кто-то зевал,
бумага кругом шелестела...
На столе предмет деревянный стоял —
крест и на нем распятое тело.

Деревянный свидетель в процессе,
подобно всем остальным, молчал,

лишь осенние мухи, крылышки свесив,
предсмертным жужжаньем наполнили зал.

Встал судья... Но что это? Как это?
Рухнули с треском дверцы огромного шкафа,
с полок, из фолиантов, кодексов и актов
параграфы посыпались на пол.

Лопнули пандекты разбухшие,
и ринулись на стол и на скáмьи
рои отвратительных мушек
и червей с двумя хвостами.

Замер зал, молчанье все глуше,
вдруг крики: «Где выход? Спасите!»
Но поздно! Уже наползают и душат
рои этих мух омерзительных!..

Лезут черные, короткие, продолговатые,
вползают одна за другою в рот глистом.
Идет меж них переключка: сотый, сто пятый,
сто пятьдесят шестой.

Сидят уже тучей на каждом предмете,
в коридоры и в залы ползут без конца.
И вдруг на судью я взглянул и заметил:
у него параграф вместо лица!

Задрожал, побледнел прокурор

(прокурорская лирика нам знакома!),
когда судье он шепнул: «Приговор!» —
не знал, по параграфу – по какому.

Из себя не могу я выжать ни слова,
горло мое крючками сжато
параграфа пятьдесят второго
и сто пятьдесят девятого.

Параграфы петель затянули шею,
параграфы камнем на голову падали,
параграфы распухали, жирея,
вскормленные беззакония падалью!..

И вдруг, наконец, очевидно мне стало,
мыслью этой как молнией я поражен:
здесь защитников вовек не бывало,
здесь каждый заранее осужден!

И я за провинности миру плачú,
осужден на пожизненное молчанье,
но я кричу параграфу-палачу,
чтоб он отменил наказание,

ибо не раскрепощенная словом
вечно терзается мысль-калека,
как на судейском столе дубовом
распятая фигурка человека.

Луна улицы Павьей

Золотая луна над улицей Павьей —
словно хала. Но всё это – прибаутки.
И был мальчонка-портной в Варшаве.
И было имя ему – Исаак Гуткинд.

Луна над Варшавой – прочих лун не краше.
Утро каждое – раным-рано —
открывал мастерскую Исааков папаша,
звон трамвайный будил Муранов.

Мастерская выходит во дворик.
Обстановка, конечно, бедная:
грязь, вонища, торгуются, спорят...
Ицек рос, никому не ведомый.

Хвост селедочный да ломтик хлеба —
разносолов иных не прибавишь.
И глядел на трапезу с неба,
проплывая над улицей Павьей,

лунный диск... Так сурово устроен свет,
так не щедро отмерены детства пределы:
уж как прѣбило малому десять лет —
началось портновское дело.

Шил ребенок, да размышлял втихомолку:
«Ведь луна – золотая пуговица, —
мне б найти такую иголку...» —
А отец визжал: «Работай, курица!»

Как заплаты на лапсердаке —
год за годом и день за днем...
Отец – как портной-бедолага всякий —
взял да и помер за шитьем...

В жизни случаются злые шутки,
да и как понять сюрпризы бытия?
А ты, забитый подросток Гуткинд,
о чем ты ведал, кроме шитья?

Детских недоумений россыпь,
нищета, унижений тайна... —
И отгадки на все вопросы
он искал в брошюрках случайных.

С гольтьбой не напрасно общенье:
на Налевках, на Павьей, на Гусьей
он усвоил такие реченья:
«Быть людьми. Устоять. Не струсить».

А в брошюрках – словечки разные,
мельком слышанные когда-то,
про порядки про буржуазные,
про единство пролетариата,

и шептали портные старшие
о былых революциях грозных,
о премудром учителе Марксе,
о Ленине, Карле и Розе, —

этой долгой повести главы,
эпизоды жаркие, скорбные...
В те поры профсоюзам Варшавы
навязали высокие нормы...

С транспарантом тяжелым Гуткинд
шел с другими рабочими рядом.
Кулаком рассекли ему ухо,
и – живым манером – в тюрьгу.

Сидит Ицек четвертый год:
у судей коротка расправа, —
на решетки свет золотистый льет
луна, что с улицы Павьей.

Луна, луница, посвети сильней
над Дикой, над Павьей, над Кармелитской!
Да жив ли он в лапах этих людей?
И что они делают с Ицеком?..

Льется жизнь печально и странно...
Только, граждане, что за шутки?
Всколыхнулся опять Муранов,

В самом центре событий – Гуткинд...

Post scriptum

...Как-то мне на днях передали листки:
почерк вроде знаком – я развел руками, —
«Вы, товарищ Броневский, напишите стихи
про нашу двадцать первую камеру...»

14 апреля

Памяти Владимира Маяковского

По ту сторону радости
ждут усталость и смерть.
Всею жизни громадой
их значенье измерь.

Но, из сумрака вышедши,
прогремит оратория,
в небо взвита выше, чем
черный дым крематория.

Пусть нам слово, как радий,
прожигает сердца.
Слава павшим собратьям,
нам же – путь без конца!

* * *

Друг мой, судьба нас разъединила,
мы расстаемся чужими, право, —
ты в Лодзь свою едешь, а я в постылой
и чужой мне останусь Варшаве.

Знаю, тебе ни к чему быть поэтом,
лирически заливающимся сверчком,
в каменной Лодзи, в бетон одетой,
каждый шаг твой отзовется стихом.

Знаю радость борьбы повседневной,
и зависть берет: она так легка,
а мне тяжелей – во мне бьются гневно
песня, боль и человеческая тоска.

Приемлю я всё, чем живет наш век,
радость и боль всем дарю с любовью,
сырье моей песни – всегда человек,
и песня моя впоена моей кровью.

Как мог не понять ты, мой друг дорогой,
где я силу беру, в чем я мощь обретаю?
Со стихом, как с мечом, выступаю я в бой,

со стихом я люблю, со стихом я страдаю.

Свою не отдам я стожильную лиру,
никто не коснется стострунной моей,
я сам понесу ее, грозную, миру,
хоть будет она всех гробов тяжелей.

И мне не изменит вовек моя песня,
она поражения не признаёт,
из сердца взлетит, как орел в поднебесье,
и ринется хищно на сердце твое,

с добычей своею над скалами голыми
промчится туда, где течет безмятежная Лета.
А если умрет – упадет она голубем.
Только так умирают поэты!

Стихи о ранней весне, написанные поздней осенью

I

Живу себе, зовусь поэтом, —
не важно это ни для кого.
Толкусь по Варшаве, в бетон одетой,

творю стихишки из ничего.

Живу в мансарде на Мокотове,
питаюсь простейшей снедью,
по вечерам гляжу на тучи суровые —
олово, сплавленное с медью.

В тесных быта расщелинах
померкшую радость лелею,
пока придет весна, – как подстреленное,
сердце тогда замлеет.

Тогда каждая зеленая поросль
в сердце отдается фразой,
и каждый листик порознь
превращается в слово бессвязное.

Тогда из ничего рождается стих,
боль и радость – из ничего.
Не сплю до утра, встаю тихий, —
не важно это ни для кого.

Страшнее всего слушать издалека,
ночью, когда все шумы смолкнут,
как шумит и бурлит, набегая, река,
Как волна, нарастая, врывается в окна.

Схватит за волосы оторопелого
и понесет неудержимо и быстро

по крутой и скалистой тропе
между творчеством и самоубийством.

К утру я совсем измученный,
все таким мрачным кажется,
и взгляд жены, даже самый лучший,
ложится на сердце тяжестью.

Обжигает ноги бетон разогретый.
В этом стихе есть что-то злое.
Живу себе, зовусь поэтом.
Кому до этого дело какое?

II

Когда в окно вползает тишь,
и пульс стучит, и ты дрожишь,
и вдруг несозданные строфы
ударят в мозг, как катастрофа,
и видишь кровь, в тумане мир,
и сыплются удары слепо,
и ты кричишь: «Приди, возьми!»,
и ты замрешь, – знай: это эпос.

Когда ж рассвет, как сон ребенка,
благоуханный, ясный, звонкий,
во мгле и радости, как птица,

с тобою в небо устремится,
и робкий стих, едва намеченный,
как лилия, как резеда, как ирис,
вдруг расцветет – дышать уж нечем,
и ты замрешь, – знай: это лирика.

III

С утра сквозь сон стихи родятся,
кружить с аэропланом хочется,
открыть окно и рассмеяться,
и прыгнуть в небо, в радость, в творчество.

Свод голубой и еле видимый,
цветочки-тучки в ясном небе.
Дочурка милая, ах, если б выдумать
еще звончее песню мне бы!

Цветочки в небе, незабудки.
Не будет снега, дождь не капнет,
и туч не станет через сутки...
«Шла по доске высокой цапля...»
Еще ль рассказывать, малютка?

Борис Пастернак

Мчатся тучи под ветром
в черном ливневом шуме,
ртуть растёт в термомётре,
нарастает безумье.

Месяц синий и мёртвый,
как стеклянный осколок,
кровь стучит по аорте, —
в сердце – словно бы сполох, —

и растёт без предела
строк и образов груз, —
по разбитому телу
мчит взбесившийся пульс.

В этой ливневой жути
плоти женщин, кометы...
Окна настезь – и ртутью
Разнесён термомётр!

Из надрезанной жилы
льется стих невесомый.
Полшестого пробило.
Хватит. Надобно бромю...

Кто по комнате рыщет?
Кто стоит у окна?
Листья пахнут кладбищем.
Осень. Вечность – темна.

Трудно тьму эту вынести.
В мир сырой и безгласный
ты стихи свои выплесни,
как из рюмки – лекарство.

Каламбуры

Лопнуло сердце зная
за Волей и за Охотой;
забрызганы рыжей кровью
Железная, Медная, Злотая.

Ослеплён восторгом кипучим,
как краснеют кровью – изведал я —
дома, и дымы, и тучи —
золотые, железные, медные;

чёрным дымом – улиц вечерних
каменное кровотечение,
а тучи – багровые стервы —
ужасали мертвенной тенью!

«Нет ни охоты, ни воли, —
думал я, – сердце разбилось...»
Но брёл и брёл поневоле
рыжим вечером, по Красивой...

Промельк тени

Скользнула птица черной тенью
в квадрате солнечном окна.
И что же? Вновь простор весенний
и небо, где не видишь дна?

А всходы? Зелень? По равнинам
потоп травы, листвы разлив.
Родная, далеко идти нам
в напев берёз и шепот ив.

А путь всё длится, жизнь всё длится.
Полжизни пронеслось, как день?..
Как миг... Промчалась с граем птица,
и по окну скользнула тень.

Звёзды

Под этими звездами трудно несть

молчанье, молчанье, молчанье...
Но на помощь прорвутся песнь
и – немужское рыданье.

Как безбрежен свет,
небо – звезд водоём.
Муза, нам прѣбило тридцать лет.
Скажи, куда мы плывем?

СТИХИИ

Так чего ж от меня желает
мир, погрязший во тьме молчанья,
в час, когда я иду, пылая
светом тяги людской к Познанию?

С жаром, хладом, грозой боренья —
со стихиями бьѣтся разум;
в этой битве вооруженье —
и пространство и время разом.

То иду по пескам, сгорая,
то сражаюсь с рекой бурливой,
ветер воеет в степи без края...
Славлю ветер, пески, разливы!

Славлю разум, что в мире этом

и творит и несёт свободу,
осветив Прометейским светом
мир – до самого небосвода.

Так идём же, не отступая,
города и заводы строя,
ибо сзади – вечность слепая
вместе с ночью глухонемой.

Возвращение к стиху

Топот стиха – на славу!
Это отчаянно мчится
миг мой, несущий отраву,
вечности нашей частица.

Воображенье летуче,
сердцебиенье всё чаще,
мысль над провалом у кручи,
взгляд в глубину уходящий.

Ночь. Тишина. Возникает
зов пустоты бесконечной,
и на уста нам стекает
Путь леденеющий Млечный.

Воздух для песен нам нужен,

крови хотят наши души,
горек напиток, к тому же
топот всё глуше и глуше.

Тревога и песнь

Может быть, ничего и не было?
Год пройдет, или два, или икс —
мои мысли – черные лебеди —
уплывут вниз по Висле – в Стикс.

Кто бы сердце поставил заново? —
Я свое расшвырял для других:
не по формуле и не заумыю
возводил я и жизнь, и стих.

От тревоги – и в горле горько.
Я распелся бы во всю мочь, —
только вот – перехвачено горло,
только хрипом хриплю сквозь ночь.

Но и в хрипе – сила поэта.
Мы еще – своё пропоем.
Не поддамся этому свету.
Не возьмет он меня живьем!

Безработный (Тюремная песня)

Ни поесть, ни попить, —
как работу раздобыть?
Вот наняться бы теперь мне
к каменщику в подмастерья,
чтобы есть и пить.

Братец, эй! Берись за дело,
чтоб оно в руках кипело,
а потом поешь-попьёшь.
К кирпичу кирпич ложится,
воздвигается темница,
в той темнице ты сгниешь.

Нет, не сяду под замок,
белый свет еще широк.
Молот звонкий я достану,
подмастерьем в кузне стану,
белый свет широк!

Братец, ой! Напропалую,
на потребу палачу,
цепь пройдет сквозь горна пламя,
звенья станут кандалами...

Я носить их не хочу!

Надоело голодать!

Камни, что ли, мне глотать?

Надоела эта доля,

безработица, неволя, —

братья, долго ль ждать?

Эй, товарищ, есть работа!

Скоро взмокнешь ты от пота.

Тяжкий молот свой возьмешь

и, разбив свои оковы,

в час расплаты в бой суровый,

в бой решительный пойдешь!

Полицейские псы в Луцке

Нине Матуливне

Слёзы смени на камень,

пусть будет чутким ухо:

воют полицейские псы ночами,

протяжно, хрипло и глухо.

Их слышно повсюду ночью

во тьме, на Польшу упавшей,

хоть сапогами грохочут

полиции, армии марши...

Учат псов дотошно и тонко,
комиссару Зарембе спасибо:
псы сумеют впиться в мошонку
тому, кто молчит как рыба.

Комиссар Заремба ведёт дознание,
слышен ремней натянутых звук:
«Бей в морду, Постович! Говорить станешь?
Ещё хочешь, падаль? Бей, Ткачук!

Вон его... Есть ещё?» – «Пане вельможный,
тут ещё девки, одна ничего...
Пусть пан комиссар скажет “можно”,
найдётся способ... Ну и... того...»

Нага, беззащитна, мученьям чужая,
связаны ноги, запястья рук...
А глаза! – волками на псарне сверкают...
«Теперь нагайкой! Жги, Ткачук!»

Пёс полицейский долго выл
в тюремном дворике в полночь,
он чуял кровь из порванных жил,
Выл и скулил: на помощь!

Выл долго, протяжно, жутко
по-человечьи рыдая...

Загнали собаку в будку,
и вновь тишина глухая...

Вой этот слышу и слышу.
Сердце, твердей, как сталь!
Друзья, говорю я всё тише,
но уносится шёпот вдаль,

ведь в шёпote сила скрыта,
в шёпote гнев лавиной,
вслед песне – поруганной,
битой, как Ты, товарищ мой Нина.

Товарищу по камере

Дверь окована, заперта дверь,
и решетка в оконце под сводом...
Здесь надолго ты заперт теперь,
здесь пройдут твои лучшие годы.

Должен стиснуть зубы, и ждать,
и мужаться душой непокорной...
Что же ночью не можешь ты спать,
все шагаешь по камере черной?

Отчего твои пальцы впились
в эти прутья решетки железной?

За окном настоящая жизнь,
и ты рвешься на битву из бездны?

За решеткою – даль без конца,
так и тянет в нее окунуться!
Слышишь, слышишь посвист свинца?
Слышишь, слышишь гул революций?

Будь же крепок, мой друг боевой,
не страшись окружающей ночи,
все восставшие братья с тобой,
вместе с партией нашей рабочей.

У врага еще есть динамит
и штыков и винтовок немало,
но мы знаем, он будет разбит, —
и низвергнем мы власть капитала.

День весенний настанет, поверь,
воцарятся и радость и счастье,
распахнется железная дверь,
распахнем ее сами – настезь!

Последний крик



Последний крик

День гнева – голод, огонь и войны —
встает из ночной мороки.

И я взываю, как встарь пророки,
поэт, в своем сердце вольный.

Голос мой океан исторг,
всем гибель сулящий вскоре.
Четверо мчат на запад и на восток.
Горе! Горе! Горе!

Горе вам, гордые зодчие
небоскрёбов – Богу наперекор!
День страшный встает из ночи,
будет голод, пожар и мор...

Живая, хоть схожа с трупом,
готовит новшества адские
ослепшая цивилизация —
жена, одетая в пурпур.

Всё страшнее страда.
Яростен шаг истории!
Выгорят города.
Рухнут лаборатории.

Слышу новых потопов прибыль,
слышу топот миллионов ног.
Знаю: за мною выбор
и слов, и дел, и дорог.

И возглашаю, в себя углубленный,
как Иксион, на колесе распялся,
над реками грядущих Вавилонов
сбывающийся Апокалипсис.

Когда ж настигнут меня мутные волны
войн, поветрий, зарев, голодных будней,
я – как бутылку с тонущего судна —
брошу крик мой последний: вольность!

Друзьям-поэтам

Мало нас,
но в толпе без труда мы сходимся,
связанные железным шагом,
песней железной связанные, —
мы,
поджигатели сердец,
бомбометатели совести,
рецидивисты мечты,
гнева и энтузиазма.

Словом, голым и скованным,
как Прометей навечно,
мы освещаем без страха
бездны времён позора.
Придет день,
придет —
и радостно будем жечь мы!
Пусть пока зяткнут кляпом рот
и коленом сдавлено горло —

в сиянье грядущих дней
слов наших встанут полчища.

Вооружим их сегодня,
а завтра – венчаем славой,
чтоб стать им законом и силой
над Землей, Европой и Польшей,
вековечней таблиц законов Рима
и выше, чем Вавель.

Твёрдые руки

Уголь кричал, и нефть голосила,
медь и железо в недрах зывали:
«Сделайте нас человечесьей силой,
руки-машины из твердой стали!

Сделайте нас толпой паровозов,
слесарь, литейщик, горняк и механик,
и поведите, грохочущих грозно,
за горизонт, в отдаленные страны.

Пусть вырастают трубы, заводы,
множат, гудя, человечью силу!
Тверже машины – руки народа!»
Уголь кричал, и нефть голосила.

«Вечно в труде мы, всегда в напряженье, —
слышно рабочих ответное слово, —
мы на работу идем, как в сраженье,
по принуждению земли суровой.

Бьем ее молотом, бьем киркою,
вырвать стремясь крыло для полета,
чтобы потом разумной рукою
твердо держать штурвал самолета.

Тверже земля, чем наши руки,
нужно ее схватить за горло,
вырвать богатства в труде и муке!
Бей ее, молот, буравьте, свёрла!

Мы завладели навек огромным
шаром земным – за градусом градус,
руки построят на нем бездомным дом,
где, как хлеб, разделим радость»

На смерть Анджея Струга

Мы – подпольных людей потомки —
рождены в сырых катакомбах,
вырастали в глухих потёмках,
наши годы – история бомбы.

Век рукою пятого года
нам её за пазухи втиснул.
Наши школы – ночь, непогода,
мрак и виселицы над Вислой.

С этой бомбой нас жизнь таскала
по фронтам, потрепав порядком...
Но поэзия нам помогала
побеждать и в споре, и в схватке.

Анджей, ты нас учил: негоже
с пораженьем смиряться в печали.
И мороз подирал по коже
от того, как слова звучали!

Ты учил нас, как братом брата
признавать по делам – не по крови,
ты воспитывал демократа
в каждом мальчике польской нови —

чтоб народу служил непреклонно
в отчизне станка и плуга...
Так опустим стяги с поклоном
Перед гробом Анджея Струга.

Честь и граната

Лезут фашисты. Прут марокканцы.
Грозно кулак вздымается сжатый:
небо Мадрида в кровавом багрянце.
Честь и граната! Честь и граната!

Честь и граната – доблесть, и сила,
и обновляющая отчизна...
Сжатый кулак, чтоб верней сокрушил он
черные батальоны фашизма.

Рвутся снаряды в небе Мадрида,
пахнут знамена кровью и гарью.
Честь и граната! Слава убитым!
Ружья солдатам! *Arriba parias!*⁴

Вышли литейщики и рудокопы,
вышли кастильские хлебопашцы

⁴ Первые слова «Интернационала» на испанском языке.

в битву за фабрики и за копи,
в битву за землю, в битву за пашни.

Вышли на битву люди свободы,
вышли во славу земли испанской,
чтобы не быть ей, как в прежние годы,
вновь королевской, княжеской, панской.

Бьются мадридцы в кровавой пене,
и гвадаррамцы, и самосьерцы...
Пролетарии не падут на колени,
стоя глядят они в очи смерти.

Республиканцы, разите вернее.
Братья испанцы, слушайте брата:
я вам бросаю за Пиренеи
сердце поэта – честь и граната!

No pasaran!⁵

Республиканцы насмерть стояли,
кровь их на землю сочилась из ран,
на обожженных стенах развалин
кровью писали: «No pasaran!»

⁵ Они не пройдут! (*исп.*).

Выбита надпись огнем и металлом
среди баррикад из сердец и камней.
В битве свобода Мадрида вставала,
жизни дороже, смерти сильней.

Враг наступал на свободу два года,
веруя в силу огня и меча.
Статуей родины встала свобода,
выдержав натиск, насилье топча.

Стих мой – он братство и равенство славит,
залит он кровью собственных ран.
Если умрет он, пускай оставит
слово надежды: «No pasaran!»

Родной город

В жизни не прошел и полдороги,
но повсюду ждет меня несчастье.
Сердце! О минувшем, о далеком
расскажи без слез или расплачься,

воскреси на миг тех лет отраду,
я тогда на мир смотрел по-детски.
...Дом над Вислой, окруженный садом,
на холме высоком мазовецком...

Если б знали вы, как там поется
старой звонкой меди на закатах,
когда лижет языками солнце
гребни волн, от солнца рыжеватых!

А когда на берегу стемнеет,
бор сосновый погрузится в думу, —
звуки ночи над равниной реют,
вороны слетаются за Тумом.

Отзвонить отходную бы надо,
сердце, старине той, в землю вросшей.
Я отсюда уходил в солдаты,
и в тот город не вернусь я больше,

но, идя по жизни, часто, часто
вспоминаю край, который дал мне
те слова, какими пел о счастье,
и любил, и побеждал страданье.

Люди лет далеких! За любое
слово вам великое спасибо,
пусть вам Вислою шумит, сосною
ветер, что следы мои засыпал.

Маннлихер

Жизнь меня не гладила по шерстке,
не подносила манну на блюде —
ну и ладно, ну и черт с ней:
только так и выходят в люди.

Был щенком совсем еще глупым,
когда взял я винтовку в руки,
зубы стиснув и лоб насупив,
шел сквозь грозы, сквозь смерть и муки.

Так солдатом стал закаленным
и узнал я, почем фунт лиха.
Был щенком слепым, несмышленным,
в мир глядел за меня маннлихер.

Наглotalись мы вдоволь дыма
на зеленых полях у Стохода...
Там оставил друзей любимых:
не вернулись друзья из похода.

Что ж отвечу я им на тризне,
когда юность во сне предстанет?..
Не был, не был я баловнем жизни,
не добрел до цели желанной,

но солдатом шагаю снова,
и высокая видится цель мне.
Как маннлихер, бьет гневное слово,
как винтовка – мой стих огнестрельный.

Мои похороны

Моя земля мне всех иных дороже,
мне никуда отсюда не уйти,
здесь всё кругом на молодость похоже,
на юность, отшумевшую в пути.

В окне я вижу тополя и поле,
отсюда Польша сердцу так близка,
что с ней я радуюсь и плачу поневоле,
муштруя к битве слов моих войска.

Слова мои поймет земля родная,
хотя б из них хлестала кровь ручьем,
ведь знаю: и стена тюрьмы сырая
стихами обрастает, как плющом!

Здесь шепчется со мной листок зеленый,
ветра Мазовии качают тополя;
и здесь, пожалуй, в отчий край влюбленный,
навекы я усну – не правда ли, земля?

Тогда меня укутай потеплее
и обними, чтоб слаще я уснул.
И пусть шеренгой в траурной аллее
родные вербы станут в караул,

пускай они шумят мне на рассвете
про светлый мой, про песенный удел,
о том, как я любил на этом свете,
о том, чего воспеть я не успел.

Магнитогорск, или Разговор с Яном

Сидим с Яном под арестом в охране
в тринадцатой камере, в центре города.
Три дня назад взяли нас спозаранку,
посадили и держат здесь под запором.

Спать на полу не так уж уютно,
дали суп – и собаке в горло не лезет.
Ян в броню диалектики закутан,
а я – в легкое облачко поэзии.

Неистовый храп, смрад, насекомые...
Что же, жизнь не увеселительная прогулка.
На стене написано рукой незнакомою:
«Да здравствует забастовка булочников!»

Мне что? Меня не сломать им! Дудки!
Пусть держат хоть до будущих святок.
А вот Ян – у него катар желудка,
и скоро пойдет ему седьмой десяток.

Конечно, у него железная воля,
порою кажется, что он сам из железа,
но, когда в желудке начинаются боли,
никакая диалектика в голову не лезет!

Сижу и считаю часы. Яну что до кровати —
задремал на полу, прислонившись к стенке,
на лысине его, как на циферблате,
четверть пятого показывают стрелки.

Застонал, проснулся: спать жестко,
расправил сутуловатые плечи.
«Знаешь, – говорит, – в Магнитогорске
сегодня задуют две первые печи...»

Рассвет был серый, и полз он лениво,
в смертном испуге над городом замер он,
и я подумал: «Как жизнь красива
даже в этой паршивой тринадцатой камере».

И еще думал о Яне, о многом, о разном,
мысли связать далось нелегко мне.
И пылали над нами в застенке грязном
огромные магнитогорские домы.

Гаврань и Мурань

Камышовым долинам приснились
черные озера лесные.
А в горах прояснилась погода,
а в долине белые воды
по мелколесью теснились.

О, как звало и пело,
и ветром зеленым повеяло,
прилетело облачко белое,
солнце луч сквозь него продело,
озарило и сразу развеяло.

Зеленело, цвело, – закипая,
клокотала глубь голубая,
весною пушистой, сквозною,
невероятной весною,
какой не бывает.

Через долину в дали
лесные радости звали,
и забыли о небе хмуром
приятели Гаврань и Мурань —
оба к солнцу вершины вздымали.

Закат

По снегу, что выпал впервые,
белый день босиком пляшет;
кудри рассыпал ржаные,
шляпой соломенной машет.

Пламя пробрало солому
розово, зеленовато, лилово...
Счастья – дню золотому!
Славься, огнеголовый!

Под небом, ясным подетски,
за горою скрылась устало
громада света и блеска
и на землю тенью упала.

Берёза

Береза, шумная, юная, на берегу стояла,
береза взглянула в воду, испуганно затрепетала,
бежать бы скорей, бежать бы, косы свои развевая.
И не смогла. И заплакала. А почему – не зная.

Я подошел к березе, чистой такой и белой,

нож вонзил беспощадно в ее молодое тело,
жадно напился соком – кровью ее живою,
упал и заснул... Береза шумела над головою.

Мне снились мои потери, мне снились мои печали,
и ветви твои, береза, сочувственно трепетали.
С ножом в руке я проснулся – короток сон злодея...
Голубее могло быть небо, но быть не могло грустнее.

Скерцо

Сегодня снова то и дело
льет дождь. Угас последний луч.
Ноябрь, как трагик ошалелый,
хрипит в амфитеатре туч.

Скандируя свою кончину,
он под покровом мокрой тьмы
гекзаметром прорвал плотину,
залил дома, залил умы!

Сквозь эти дни пройти попробуй —
на всем отчаянья печать...
И сам не знаю, отчего бы
мне было в эту ночь не спать.

Впрямь это было безрассудство —

с ней под дождем бродить всю ночь.
В итоге воспаление чувства
и грусть, какой не превозмочь.

Душа напрасно ожидала,
к чему старание мое?
Стать мудрым сердце опоздало,
и – бух! – тогда в небытие.

Ноябрь, как трагик ошалелый,
в амфитеатре туч почил...
«Скажи мне, сердце, ты болело?»
«Я, как всегда... Ты что – забыл?»

По правде говоря

Послал бы я музу к дьяволу —
так ей, музе, и надо!
А мне бы кислого яблочка
из чужедального сада.

А мне бы орешков с неба,
птичьего молока,
да смерть слетела ко мне бы,
беспечна и легка.

Слетела бы вдруг, без груза,

только с глоточком «чистой», —
и ну тебя к черту, муза,
дописан «дневник артиста»!

Ночь

За окнами капли считает оттепель —
пятьдесят, сто – не церемонится...
Паркет поскрипывает – вот тебе
снова и снова твоя бессонница.

Ночь у кровати уселась – сводня,
мыслям жестоким моим попутчица,
ключ протянула: «Попробуй сегодня.
Незачем столько напрасно мучиться».

Рядами книги... Шекспир, Диккенс...
Турецкая шаль небрежно брошена...
И вдруг – все поразительно дико! —
я в карты с гостем играю непрошеным.

С фиגляром сегодня я в карты играю,
сдаю. Он цепью бренчит понимающе.
Заранее проигрыш свой считаю,
не кончилась страшная эта игра еще.

Здесь дамы, тузы, короли и валеты

собрались в купе с полуночного часа.
И с ними я должен сидеть до рассвета,
простым пассажиром третьего класса.

Улица Милая

Брониславу Линке

Улица Милая вовсе не милая,
улицей Милой не ходи, моя милая.
Дома стоят там важные,
большие, трехэтажные,
глядят сурово в небо
с тревогой, с болью, с гневом.
За домом двор зловонный,
в нем шум неугомонный,
там дети бродят хилые,
там с юных лет сутулятся,
эх, улица ты Милая,
ох, милая ты улица!

На улице Милой – бюро похоронное,
мясник, палатка с водою лимонною,
для кукол лечебница рядом в подвале —
вид более жалкий представишь едва ли.
Вдруг «скорая помощь» пронесится с шумом,
чудак парикмахер в тринадцатом умер.

Повесился; тщетно мечтал он о славе,
напрасно фальцетом всю жизнь прогнусавил.

Милая, если б могла ты понять,
как тяжело мне по Милой блуждать!
Стих не родится, бездомны мечты
в этом унылом гнезде нищеты.

То был не парикмахер, а ангел невинный,
с Милой в небо вознесся он, точно с трамплина,
пролетал, белокрылый, над каждым он двориком
и кидал ребятишкам по белому перышку.
Дети ручками перья хватали несмело,
а потом с неба снег пошел, ангельски белый,
люди шли, проклиная свой труд и усталость,
ангел скрылся, а грязная лужа осталась.

Ночью над Милой – оспую черною звезды,
ночью над Милой – гнева мятежного гроздь,
горя немало увидишь ты, милая, в Польше,
Милая, номер тринадцать – нигде не найти его
больше.

В подвале покойник – плач, суматоха...
Плохо!
Первый этаж. Еще хуже!
Вдова парикмахера плачет о муже,
плачет неистово,
на втором – ждут судебного пристава,

а рядом —
отравилась кухарка каким-то ядом,
на третьем – жандармы, сыщики, обыск.
На четвертом – объявления читают и смотрят в оба:
не нужна ли рабочая сила.
В мансарде девушка дитя свое задушила.
Милая улица.
Улица Милая.

На улице Милой весны не знают,
там деревья и в мае не расцветают,
одни фонари там пьяны неизменно,
ватагой гуляют по улице нищей,
хмельные, качаясь, бредут до кладбища
и лбами стучатся о серые стены.

Милая, я не решаюсь по Милой пройти,
даже когда она мне по пути.
Я обхожу ее в страхе, мой друг,
даже когда я к тебе тороплюсь.
Я, дорогая, боюсь:
как бы я там не повесился вдруг.

Поэт и трезвые

Черный час я встречаю,
черной песни начало.

Дайте мне, люди трезвые,
чарку крепкой поэзии —
вина черного чару.

Трезвые всё глазают:
«Пусть напьется сильнее,
вдруг потом, среди ночи,
он кредита захочет?»
Бряк! Бутылка чернеет.

Выпил в гневе до дна я,
опьянел, запеваю...
Эти смотрят сурово,
подпевать не готовы.
По второй наливаю.

Ваше здравие, стая!
Вы подальше бы встали:
выпью чарку вторую —
вас стихами убью я.
Я забыть вас желаю.

Обступили всей стаей,
я же в стол упираюсь,
выпил третью – о, Боже,
стол мой валится с ножек,
меня в звёзды бросая:

«Приключение, здравствуй!

Здравствуй, космос прекрасный!»
Меж комет пролетаю,
Андромеду хватаю,
лик Луны вижу ясный.

Расступитесь, планеты!
Песнь ищу в бездне этой,
лью вино из бутылки
в блеск космической пыли,
но не слышу ответа...

Я очнулся не рано,
всё лицо – словно рана,
кругом трезвые встали —
меня били, пытали:
чем платить я им стану?

Я сказал: «Жизнь людская —
мир без меры и края,
коль любовь зазвучала:
лишь любовь, а не чара —
стих чудесный рождает».

Бар «Под Дохлым Псом»

Сердце вот-вот заплачет —
и не пойму, о чём;

выпить пора мне, значит,
в баре «Под Дохлым Псом».

Ноябрь продувал дороги,
словно во флейту дул,
догнал меня на пороге,
в бар со мной проскользнул.

«Выпей, вещун заботы,
сборщик увядших листьев!
Ветви ты нынче что-то
не до конца очистил.

Лучше бы с третьим камрадом...
Впрочем – можно и без...»
Лишь произнёс – а рядом
третий приятель – бес.

«Мне улыбнулась доля
с вами – такими! – пить.
Первый споёт мне вволю,
будет другой мне – выть.

Полную наливайте!
Дёрнем – до дна притом!
И всё про меня узнайте
в баре “Под Дохлым Псом” ...»

И рассказы пошли без устатка,

откровенно, в дымину, некратко.
Напились и ноябрь, и чёрт,
у меня же – слеза течет...

И рассказы пошли, покатались;
в зале пары в фокстроте сцепились,
все орут и целуются шумно,
по-дурацки, зловеще, бездумно,

словно катятся пьяной волною,
до утра по залу снуют...
Молча пью у стены – и со мною
ноябрь с дьяволом пьют.

«Дьявол, бери мою душу,
если хочешь ее забрать,
но свои сорок лет – послушай! —
я должен прожить опять.

Дай в новом существованье
Любовь мне и смерть – как тут,
И ветер попутный! Терзанья —
Черти пусть заберут!

Чтоб любить мне и драться снова,
жить шумней, веселей.
Радости – не спиртного —
в жилы мне, дьявол, влей...»

Был котелок на чёрте,
он его сдвинул: «Брось!
Видишь: в твоём эскорте
мы – унынье и злость;

значит, ты жизнь растратил,
всю – как один глоток...
Фауст, старый приятель,
твой наступает срок.

К чему мне душа поэта,
– глумился рогатый хам, —
в тебе уже крови нету,
её ты отдал стихам...»

Чёрт с ноябрём пропали,
куда? – не знаю о том,
я же – на пол свалился в зале
бара «Под Дохлым Псом».

Спиртное и вечность шумели...
«Глядите: напился – жуть!»
А я: «Пора, в самом деле.
Такси мне... На Млечный Путь...»

В поезде

Чабрец и кашка полевая
бегут – а кто быстрее? —
на полустанке нас встречая
блаженством теплых дней.

Глядим, как радость из печали,
из поезда в окно,
и как бы счастье мы ни гнали,
нас обоймет оно.

И светом неба голубого,
и солнечным теплом
нам в сердце радость хлынет снова,
как в опустелый дом.

Отдайся счастьем и покою
и сон свой не спугни,
но, как свечу, его рукою
от ветра заслони.

Примкнуть штыки



Примкнуть штыки!

Когда придут, чтоб сжечь твой дом,
твой дом родной, твою отчизну,
когда обрушат залпов гром,
дождем железным с неба брызнут
и подойдут стальной ордой,
чтоб ночью в дом ворваться твоей, —
стой у дверей, не зная сна,
на страже будь,
здесь кровь нужна!
Штыки примкнуть!

К отчизне давний счет имеем,
его мы сами с ней сведем,
но кровь свою не пожалеем,
в груди и в песне кровь найдем.
Пусть были здесь и казематы,
и горький хлеб, и ранний гроб, —
за меч, над Польшею подъятый, —
пулю в лоб!

Ты – снайпер сердца, снайпер слова!
Что значит песня в грозный час?
Сегодня стих – окоп стрелковый,
сегодня стих – приказ:
Примкнуть штыки!

Готовь огонь!

Когда ж над нами смерть нависнет,
мы вспомним, что сказал Камбронн,
и то же повторим на Висле.

Польский солдат

Голову свесив, вздыхая от боли,
плетется солдат из немецкой неволи.

Дороги забиты войсками чужими,
и польская осень сияет над ними.

В тени под березой он сел у дороги,
глядит на свои онемевшие ноги.

Разбит его полк, немцам отдали Раву,
но он-то ведь дрался – и дрался на славу,

с простою винтовкой на танки полез он,
что ж, танки прошли – ведь они из железа.

Последнюю пулю пустил под Варшавой,
побрел по руинам тропею кровавой.

Сожжен его дом, превращен в пепелище.
Как он отомстит, безоружный и нищий?

Береза, береза, веселой была ты,
что ж грустные песни поешь ты солдату

об армии польской, врагами разбитой,
о нашей судьбе, о Речи Посполитой...

Сидит он, усталую голову свесив,
плакучей березы заслушавшись песен.

Орла нет на шапке. И он безоружный.
В любимой отчизне бездомный, ненужный.

Письмо из тюрьмы

Дочурка, в камере тюремной
письмо тебе пишу.
Стал вечер ночью постепенно,
вокзала слышен шум,

решёткой порванное, небо
сереет там, вдали,
хватают птахи крошки хлеба,
чтоб в мир вспорхнуть с земли.

Не важно, доченька, что столько
меня ударов ждет:

я тот, кто ледяную стойкость
в лицо судьбе швырнет.

Ты знаешь: время убегает,
как кровь из вскрытых жил...
Будь счастлива, цветы, родная,
на всё мне хватит сил,

я нынче странникам ровесник,
бреду изгоям вслед —
я донести обязан песню
на дальний берег лет.

Разговор с Историей

Наставница жизни, История! Вон
какого даешь ты жару!
Из-за решетки глядит Орион,
как на нарах сидим мы на пару.

Ты травишь древние анекдоты
и смеешься им, сверху свесясь.
Так в камере с видом на ведро ты
веками сидишь, а я – месяц.

О Бессмертная, скажи, откуда
в тебе страсть выкидывать фортели?

Ну сама посуди: разве мудро —
столько крови миру попортить?

Почитай что на целом свете
не война – так чрезвычайка!
Сокамерница, ответь мне:
на чёрта нам эта пайка?

Революционный поэт —
чтоб сгнил в застенках советских?
История, ну уж нет —
не шути так по-детски!

Стыдись: ты дама седин благородных!
Выпусти из Замарстынова...
(Хоть сразу же за воротами
срок схлопочем мы сызнава.)

Каштан

Каштан был весь в снегу, но почки набухали.
В рассветных сумерках стоял каштан в печали.
Неясный силуэт его встречали мы
на львовской улице, у стен глухих тюрьмы,
и вешние ручки по мостовой бежали.

Мечтал я: лишь вернусь – и оживет природа,

и пышною листвою оденется каштан,
и почки, соками наполненные, вдруг
прорвутся, белизной обрызгав всё вокруг.
Ведь ширится весна беспечно, как свобода.

О тот, кто над собой слышал раскаты грома,
тот, кто лишен тепла и ласкового дома,
кто от людей закрыл истерзанную душу,
молчит без слов, хоть слезы его душат:
кому сказать? и как сказать – другому?

Каштан, лишь ты делил беду мою со мною.
Пространство меж тобой и мрачною тюрьмою
стояло предо мной в невыносимый миг,
держа на привязи отчаянье и крик,
и было для меня надеждой и мечтою.

Как медленно, в тоске тянулись те мгновенья
без весточки, надежд, без слова одобренья,
покуда не проникли в сон глубокий
теплом пропитанные мартовские соки —
и вот решётка в солнечном свеченье!

Об узнике одном храню воспоминанье.
Он с пола вскакивал в час предрассветный, ранний.
Весна тревожила его тяжелый сон,
со звездами в ночи вступал в беседу он
молчанием – своей сердечной речью тайной.

Весна в тюремную врывается тесноту,
тоскливые глаза ловили на лету
неуловимую живительную силу,
что корень, ветви, ствол и почки напоила.
Свершилось наконец – и вот каштан в цвету!

В бессонную тюрьму ворвалось трепетанье
живых цветов. Тогда с прерывистым дыханьем
безумец бросился к решетке впопыхах,
ее ломал и тряс он с пеной на губах
и выкрикнул слова тяжелые, как камень.

«Прислушайтесь, прошу: снаряды надо Львовом,
пехотные полки идут в строю суровом,
и пушки громкие там выстроились в ряд,
там танки грозные по мостовой гремят,
я слышу, как стучат уланские подковы...

Над нами кружится эскадра непрестанно.
Я должен быть в бою. Терзает сердце рана.
И белые цветы... Весна вокруг, во мне...
Взгляните вверх, каштан расцвел у нас в тюрьме».
И рухнул на пол вдруг курсант наш бездыханный.

Столь сладостного я не помню аромата,
как той весной в тюрьме... И юного солдата
я вижу пред собой, слагая эти строки
в глубокой тишине, и слышу окрик четкий:
«Эй, заключенный! Отойдите от решетки!»

Замарстынов, апрель 1940 – Иерусалим, апрель 1943

Дорога

Ксаверию Прушинскому

Дорога вела издалёка, дорога вела через Нарвик
в Варшаву, во Львов и Вильно, на Вислу, за Буг,
за Нарев.

Понятно: еще не погибла, покуда не полегли мы!
Подхорунжий, наш взводный, поглядывай на
«максимы»,

верно держи направленье, веди нас дорогой
прямою...

Я в камере слышал те залпы норвежские над Москвою,
с винтовкой рвался в атаку бежать, как в строю боец,
я —
но стволы были немые, и только стучало сердце.

Дорога вела через фьорды, тянула от снежных глыб
след
через Венгрию, Буковину, Шотландию, Вогезы,
Египет,

сквозь тундру, тайгу и степи киргизские – из России.
Эти дороги дальние в сраженьях солдат взрастили!

Подхорунжий, наш взводный, смерти нет —
лишь приказ непреложный,
что ни могила – окоп, что ни труп – указатель
дорожный.

Верный прокладывай курс через фьорды и белые
снеги:
в Польшу ведет дорога из всех на свете Норвегий!

Над дорогою той лети, мой стих жестокий и гневный,
в край, что враг растоптал, в Варшаву, Краков
и Гнезно,
чтоб от немецкой крови стала Вислы струя
киноварной,
чтоб в победах терялась дорога через Москву
и Нарвик!

Метель

И Вислой и Татрами дышит пурга,
и сыплются без остатка
оренбургские снега
на польские наши палатки.

Пути не сыщет из нас ни один,
сколько бы ни глядели,
и призраки варшавских руин

движутся вдоль метели.

Сияет в пурге Сигизмундов меч.
Досягает до неба над Польшей.
В снежных заносах Посполитая Речь,
и дорога до ней, и войско.

Снег засыпает руинами степь,
пепелище в полон берёт,
но гнёт ослаб, огонь окреп,
и он очищает народ.

Как тяжко брести сквозь кровавый свет
и кладбищенскую беду...
Ветер в глаза. Оренбургский ветр.
Я шел. Я пойду. Иду.

Не важно

И никак меня не касается
чем Америка занимается,
что там в Англии с демократией,
и что Рузвельт ест – мне плевать, ей-ей...

Я хотел бы на Жолибоже
услышать, как шумят тополя,
как поет несжатая рожь и

как кузнечик звенит в полях,

увидать, как над пеплом пожаров
бело-красный стяг водружают,
а потом – пусть меня на нары,
а потом пусть уничтожают.

Как потом обустроить державу
пусть Сикорский с Когтом обсудят.
Я хочу вернуться в Варшаву.
Все равно. Пусть будет что будет.

Что мне тревоги

Была бы в руках винтовка,
что осечки в бою не даст, —
и что мне песок ливийский, что мне сибирский наст,

что мне лагеря и тюрьмы, голод, цинга, скитанья —
как хлеб и патроны, радость кладу я в солдатский
ранец!

Мне ни к чему награды, ни к чему мне венки и слава,
мне бы крепкие сапоги, чтоб в них дойти до Варшавы.

Хочу, чтобы грохотал по священной варшавской
брусчатке

каблук, что выщерблен в Нарвике, в Тобруке в песок
впечатан.

Много дорог позади, чужбина осталась в прошлом,
любая земля была польской под солдатской подошвой!

Что богатство – ведь мне ничего, кроме песен, не надо,
мой дом в сентябре разрушили семь немецких снарядов.

Яблони да цветы – возле дома был сад...
Я вытащу из земли все семь немецких гранат!

И поцелую землю – ту, что любил я с детства,
а если рухну, то в Польше – на наш песок мазовецкий.

Что мне тревоги, приятель! Нынче до края земли
наши летят эскадрильи, наши плывут корабли.

Мы всему миру покажем, что достойны своей страны —
была бы в руках винтовка. А ещё – сапоги нужны.

Мавзолей Тамерлана

Вроде бы люди добры и спокойны,
вроде бы им ненавистны разом
беснования, казни и войны.
В людях – вроде бы – творческий разум...

Тихо стою средь резьбы и глазури.
Как я попал через дальние страны,
тюрьмы, скитанья да всякие бури
в этот последний дворец Тамерлана?

...Мчались по Персии конные орды,
мечеть за мечетью, за домом дом —
рушили, рушили, рушили к черту —
так же, как нынче: огнем и мечом!

Силы монгольской всё больше и больше —
рвы или стены – всё нипочем!
Русь и Багдад, Украину и Польшу —
так же, как нынче: огнем и мечом!

Смерть оборвет победные громы.
В память об огненной круговерти —
возведут мертвецу хоромы.
Жалобы жизни – спишутся смертью.

Гибнут народы, гибнут поверья,
гибнут империи и твердыни,
гибнут завоеватели-звери
вместе с воинствами своими.

Как всё закручено в человеке!
Немощна память, немощно слово!
В землю уходят кровавые реки,

кости становятся зеленью новой.

Хочется верить: добры и спокойны, —
люди придут на пахоту жизни,
чтобы отбросить казни и войны.
Чтобы поверить себе... И Отчизне.

Персия

Строй кипарисов,
а ниже – олив трепетанье.
Горы волшебные вижу
и солнца сиянье.

Светятся жидким топазом
в долине потоки,
с гор устремились и сразу —
к сказкам далеким.

Мчатся дорогой истории
несытые войны...
Бешено мчатся моторы
по нивам спокойным.

Орды нахлынут злые,
растопчут границы,
в эти пласты нефтяные

кровь просочится.

Персия! Мирные песни
несутся еще над тобою...
Ты, как Польша, чудесна
перед сентябрьской грозой.

Дамаск

В Дамаске – как в Завихосте
или как в Вышегороде.
Смотрю с моста,
гляжусь в воду,

носит меня по свету
с пустым, как всегда, карманом
в battle dress⁶ одетым
Polish Forces⁷ – капитаном.

Фиалки цветут в Дамаске —
весна. Мне очень жалко,
что я, словно черт из сказки,
в шапку не вдел фиалку!

⁶ Военный мундир (*англ.*).

⁷ Польские вооруженные силы (*англ.*).

Город белый, белый,
легкий, словно пушинка,
день слагаю целый
лирическую чепушинку,

и видится все яснее
время свиданий нежных,
когда в Уяздовской аллее
дарил я милой подснежники.

У рек Вавилонских

Мы строить башню свою
у рек Вавилонских не станем,
мы в Польшу – солдаты в строю —
маршем идти не устанем.

Не верь аравийской звезде,
и верить гаданьям не нужно.
С тобой карабин везде —
служба.

Здесь нефть устремилась ввысь
без посоха Моисея.
Крылатая стая, несись,
на Вислу несись быстрее.

Самолетов и танков строй,
бешеный от бензина,
мы поведем с тобой
с песней про Буковину.

И не услышим сквозь дым
труб иерихонских пенье,
когда врага разбомбим
во имя освобожденья.

И мы по руинам пройдем,
на смерть будем бороться,
и польское эхо кругом
на выстрелы отзовется.

Европу и Африку мы
пересечем на марше,
без шума и кутерьмы
вернутся солдаты наши.

И мирная встанет заря
над крышей родного дома,
тогда штыки сентября
на плуги перекуем мы.

Когда я буду умирать

Я в час последний свой
сам распрощусь со светом,
ты надо мной не стой,
не докучай советом!

Хочу лежать один
с открытыми глазами,
сжимать свой карабин
спокойными руками.

Ловить жужжанье пчел
хочу на смертном ложе
и видеть Вислы дол,
где молодость я прожил.

А если нужен плач,
пусть лучший друг заплачет,
когда в солдатский плащ
остывший труп мой спрячет.

Похоронивши, пусть
друзья мои, родные
солдата вспомнят путь
и песни боевые,

потом пусть кровь прольют,
отчизну защищая.
Я песню им свою
и меч свой завещаю.

Ничего больше

Ах, что там осталось? Разрушенный дом,
невзрачная жизнь, промелькнувшая сном,
погост, где моя похоронена мать,
земля, что дарила свою благодать, —
холмы и долины земли Мазовецкой,
я слышу ваш стон под пятою немецкой, —
и шум тополей, и над Вислой закаты,
где счастье на миг улыбнулось когда-то,
где сердце с любовью впервые спозналось...
Там больше уже ничего не осталось!

А мне что осталось? Скитаться, грустить,
как лист, унесенный ветрами, кружить,
и слушать волну у библейской реки,
и видеть над Вислой во сне огоньки,
и знать: не во сне, наяву надо биться
за землю, с которой пришлось разлучиться,
за дом, превращенный врагом в пепелище,
за гроб материнский на старом кладбище,
за то, чтоб с любовью вновь сердце спозналось...
Да, больше уж мне ничего не осталось!

Стена Плача

Камни серого цвета
и плач – сквозь тысячи лет.
Я променял бы все это
на Вербную и Новый Свет,

посидел бы в «Землянской», в «ИПСе»,
слез не пряча под веками,
а во мне Апокалипсисом
и Вавилонскими реками

рыдало бы, колыхаясь,
Иеремиевой песней горя,
сердце Варшавы – хаос,
страшного сентября.

Кровоточить умея,
стихи ничего не значат.
Я плакать пришел, еврей,
к Стене Плача.

Via Dolorosa⁸

Иерусалимские стены,
камни снесённого храма...
Этой космической сцены
встарь здесь разыграна драма.

Было, и сгинуло снова
в действиях, в потоке столетий
преображённое слово,
то, что за совесть в ответе.

Сколько здесь улиц, но длится
эта дорога, и что же? —
на перекрёстках таблицы.
Мороз по коже.

Здесь он упал... Здесь взвалили
крест на него лиходеи...
Снова упал, снова били...
«Скажешь, кто царь Иудеи?»

Кровь на челе из-под терний,
вот он – гонимых союзник,
жертва разнузданной черни

⁸ Путь скорби (*лат.*).

и политический узник.

Что ж моя память кровава,
словно голгофские пики?
Что в ней таится? —
Варшава,
плат Вероники.

Я здесь не в поисках Бога,
я лишь солдат, и не больше.
Но ведь мой крест и дорога —
это дорога до Польши.

Роза Сарона

Белые контуры Ерусалима.
Ветер ливни пронес,
и серебрятся, едва различимы,
капельки в чашках роз.

В этом краю, в былое влюбленном,
столько библейских слов...
Что же такое «Роза Сарона»? —
Отзвук забытых снов?

Роза Сарона... Пыль Иудеи...
Боль порушенных гнезд...

Или – в ночи, в плену у халдеев —
сплетение южных звезд?

Или же – в тайнах древних мелодий
есть и ответ иной:

канула роза в темный колодец,
был нестерпимый зной,

тонкие, крепкие девичьи пальцы
подняли ввысь кувшин,
к девушке грустно склонялись пальмы,
кривые стволы маслин.

Бедра плывут. Жара истомила.
Тихо браслет звенит.
В мареве жарком – отблески Нила,
Дальняя синь пирамид.

Кедры Ливана, горы Синая...
Много искал я роз.
Только вот Розы Сарона – не знаю.
Не отыскал. Не принес.

Белые розы в красных вазах,
быстрые взоры в окне...
Есть ли взаправду Роза Сарона?
Или – приснилась мне?

Моя комната

Я живу в стране паслёнов,
и в любые окна перцы
нежнонежно и влюбленно
тянут листья в форме сердца,

как непрошеное счастье
в суете сует безбрежной...
Но душа, душа всё чаще
и «влюбленно» ждет, и «нежно» —

как не знать ей Палестины
весноватой и зеленой?..
Пусть тебе расскажет стих мой,
что живу в стране паслёнов.

Советы туристке в Иерусалиме

Сядешь в «девятку», и до конечной —
на гору Скопус.

Там ты под солнцем палящим и вечным
встанешь, как над потопом,
радугой скоротечной.

Над мертвыми берегами
стоит керубим меднолицый.
Над Иорданом кругами —
орел, белая птица.

По белым холмам пророки
древними бродят путями.
Ангел простер свои руки
Лоту с дочерями.

Смотришь умиротворенно
на белого камня дѣмы.
Помни огни Содома,
трубы Иерихона.

Ведет сынов вереницей
Иаков лугом зеленым.
Вот Старый Город: по склонам
древних царей гробницы.

Гонится за тобою,
за счастьем твоим могила:
в небе варшавском «юнкерсов» воя
не позабыла?

Глянь: «Семь сестер» у берега моря —
кто обратил их в плачущий камень?
Так предстают изваянием горя
люди со сжатыми ртами.

Дальше на север – лазурная мгла,
мир нереальный, весь из стекла,
и видно, какой кровавый.
Там – дорога тебе легла
до Варшавы.

Как Висла, сотнями брызг
мой взор тебя снова омывает.
Радуга – вдрызг.
В сумерках на Катамон вернёмся с тобою.

Средиземное море

Шумит Средиземное море
у Левантийской земли,
плывут и плывут на просторе
военные корабли.

Солдаты плывут, солдаты,
нацелившись на людей,
плывут от зари до заката
стальные тела кораблей.

Синь моря и неба лучится
то в золоте, то в серебре...
Ужель наше счастье таятся

на Кармельгоре?

Над раковиной покоя
неба свод голубой,
плывут корабли чередою,
спешат в Европу на бой.

Вовеки не будут забыты
все горести нашей земли,
тяжелые волны сердито
на север несут корабли.

Плывут корабли на просторе,
они нашу радость везут...
Скажи, Средиземное море,
где бёрега тихий приют?

Мазурка Шопена

В иерусалимском переулке
грусти чуть заметные следы...
Незаметно день смолкает гулкий,
вечер опустился на сады,

и сменяются легенды снами,
полными библейской тишины,
и лаванды дышат перед нами,

вдосталь ароматами полны.

Будто ниткой серебристой поднят
месяц к полуночным небесам,
Орион с Медведицей сегодня
дальний север указуют нам.

И на север улетают мысли,
суетливой мечутся толпой,
устремляются к родимой Висле
и к моей Варшаве дорогой.

Мы сидим с тобою, друг любимый,
тишиной захваченные в плен...
И внезапно в тишь Иерусалима
ворвался с мазуркою Шопен.

Хорошо играет незнакомый,
сердцу очень близкий пианист,
и звучит напев родного дома,
серебрист и, словно детство, чист.

Он мазурский, он кюявский, что ли,
из родимых прилетел сторон,
нам о нашей неизбывной боли
и о радости напомнил он.

Он поет о молодой невесте,
он поет о конюхе больном,

о глухом отчаянье предместий
и о сердце страждущем моем.

Бабушка не раз мазурку эту
в темной комнате играла мне,
где казненных братьев два портрета
с давних лет висели на стене.

Спят два брата, в кунтуши одеты,
похоронены в саду родном...
Неожиданно в скитаньях где-то
бабушка заснула вечным сном...

Тяжко-тяжело басы нависли,
неуемна трель высоких нот,
скоро сердце по родимой Висле
вдоль лесов сосновых поплывет.

Сердце, ты скитаешься по свету,
ты – бродяга па пути большом,
ты взволновано мазуркой этой,
как скрипичным заперто ключом.

Ночь полна блаженного досуга,
пианист играет в поздний час...
Но не слишком ли, моя подруга,
эти клавиши терзают нас?

К поэзии

Весь я зеркалу уподобляюсь,
злые судьбы глядят в меня,
где б я ни был, я опаляюсь
жаром жертвенного огня.

Ты, поэзия, не ослепла,
и, на крыльях своих паря,
птицей фениксом встань из пепла,
гневной песнею бунтаря.

Пригвожденный к аду и раю,
слышу – голос твой не затих,
никого я не проклиная,
а бросаю вперед свой стих.

Пусть судьба моя – вечная лгунья,
я тебя лишь одну зову,
и во мраке и в полнолунье
в океане людей плыву.

Был солдатом своей отчизны,
жил, Икара завет храня...
О, поэзия! В гущу жизни
самолетом ты сбрось меня!

Боевое мое задание —
чтобы стих мой не отступал,
умирающим – обещаю,
для живых – боевой сигнал!

Два голоса

Антонию Слонимскому

Когда тебе приставят к горлу нож
и заглянуть велют во чрево ямы,
что нужно гордому, чего ещё ты ждёшь?
– Отваги. Я упрямый.

А если ты падёшь без страха и сомненья
и твоё сердце вырвет враг самовлюблённый,
что нужно воину, чтоб умереть без стога?
– Презренье.

Распались кости, политые кровью,
но дело живо в миллионах душ безвестных.
Чем хочешь ты в их памяти воскреснуть?
– Любовью.

Польским евреям

Памяти Шмуля Зигельбойма

Из городов и местечек не слышно криков страданий,
повстанцы варшавского гетто смертью героев пали...
Слова свои в кровь погружаю, а сердце – в бездну
рыданий
для вас, о евреи Польши, я, польский поэт-скиталец.

Не люди, а дикие звери, бандиты в солдатских погонах
вторглись, чтоб приняли муки вы, ваши дети и жены:
чтобы душить вас газом, известью жечь в вагонах
и надругаться над прахом расстрелянных
и сожженных.

Но вы замахнулись камнем, чтоб кинуть его в злодея,
который целился в дом ваш, чтобы на воздух
взлетел он...
И вы умереть сумели, о сыновья Маккавеев,
сражаясь без тени надежды за общее наше дело.

Надо в памяти польской высечь, как на граните:
общий дом наш разрушен, кровоточат наши раны,
роднит нас стена расстрелов, Дахау, Освенцим
роднит нас,
каждый прут на решетке, каждый труп безымянный.

Общим нам будет небо над разбомбленной Варшавой,
после того как победу в битве кровавой добудем:
каждый получит свободу, хлеба кусок и право,
будет единая раса, высшая: честные люди.

Сын Польши

Сын Польши скованной и сын свободной песни,
О чем я буду петь, когда сожжен мой дом!
Как черный танк, прошел сентябрь, кровавый вестник.
Оружья нет в руке и нет в краю родном!..

Но мы освободим край вольного народа!
Пылай, о сердце! Стих, ты возродись в огне,
Чтоб в Польше расцвела желанная свобода,
Чтоб «Варшавянка» вновь звучала по стране.

Варшава, встань! Хвала твоим святым руинам!
Родные камни я хотел бы целовать.
О Белоруссия! Дай руку! Украина!
Твой серп и молот дай, моя отчизна-мать!

Свободу мы вернем, и ты, мой край, воскреснешь,
И равенство взойдет сияющей звездой.
Сын Польши скованной и сын свободной песни...
Оружья нет в руке. С пером иду я в бой!

Древо отчаяния



I

*Печально сквозь кровавый мир брести по
кладбищу идей.*

Древо отчаяния

И вот – зима Иерусалима:
и дождь идет, и злится ветер,
и редко солнца луч засветит
из туч, безжалостно гонимых,
и город стародавний дивный
предстанет в белизне строений;
купаясь в зелени лучистой,
купаясь в мудрости пречистой,
святыни вознесут моления
за благодатность этих ливней.
Кедрона мертвая долина,
оливковой горы вершина,
святые, древние могилы,
немым объятые молчаньем, —
какою пригвожден к вам силой,
каким прикован ожиданьем?
Настанет час, мой прах бессильный
поглотит вечное забвенье.
Но вижу – эвкалипт могильный

здесь учит не сдаваться тленю.

Его разят и дождь, и ветер,
он весь дрожит в предсмертной муке,
но простирает в даль столетий
зеленые худые руки.

Шумя ветвями, он рыдает
и издает глухие стоны,
убор зеленый раздирает
и пеплом посыпает крону,
и все ж пощады он не просит —
он ветви расправляет снова
и святотатственно поносит
его презревшего Иегову...

О дерево, познавшее страданье,
мятежное в отчаянье глубоком!
С тобою у меня одно дыханье —
я в этом мире самый одинокий:
как ты, я часто под грозой стою,
и вихрь меня к земле нещадно клонит,
порою сердце от ударов стонет,
но выпрямляюсь снова – и пою.
Не знаю, где конец наступит мой,
у ног твоих я буду гнить, быть может,
но ты мне пой, про боль и бунт мне пой,
о эвкалипт, с родной березой схожий!

В горах Ливана

Люди! Люди! Душа больна,
сердце вылечиться не может,
пусть ливанская тишина
мне поможет.

Море. Гор голубая рать.
Кедры встали семьей огромной...
Мне бы с сердца шкуру содрать,
что давно уже так бездомно.

Тишина мне нужна, тишина,
вся увенчанная небесами,
чтобы стала она полна дальней
родины голосами.

Пусть она потрясет меня,
глубока, нема, бездонна,
чтоб услышал, как пала, звеня,
наземь Зигмунтова колонна.

Рисунок

Край родной! что на свете мне ближе?

Не уснуть, снова детство я вижу,
лист беру, и в штрихах неумелых
дом растёт, палисадник и сени,
утро майское в дымке сирени,
травы мокрые в ландышах белых —
я дарил их в день ангела маме —
вот скамейка за чащей зелёной,
тот же дуб – не старел он с годами —
осеняет простёртую кроной.

Что я слышу? Над ширью окрестной
снова благовест льётся воскресный?
Солнце тонет в пылающей Висле...
Ну о чём мои детские мысли?
О нарциссах? Об иволге в чаще?..
Семь пробило, и солнце садится,
с груши сыплется цвет шелестящий,
старый домик растёт на странице...

Что ж так больно душе, так щемяще?

Ради чего живем

Что толку от жизни брэнной
без Моцарта и Шопена?
Была бы она без Мицкевича тоже
гроша ломаного не дороже.

Не ратую за «сонеты»
или, скажем, «баллады»,
сердцу поэта
прислушаться надо...

К чему?.. Ну конечно, к Висле,
где над водой нависли
весенних березок ветки,
их листья так робки и редки,
но опадать им вскоре
вместе с листвой осокорей.
На зелень взгляну, сострадаю, —
такая она молодая! —
и слёзы блеснут во взоре.

Ну а сосны, к примеру!
Друзья! Ну а клёны! Клёны!
Я счастлив без меры,
ведь клён – зеленый.

Жизнь ни черта не стоит,
когда ее дух не стоек.
Мы родине необходимы,
вернуться, друзья, должны мы,
чтоб над Вислою сосны шумели и ели,
чтобы лучи горели
на стали орудий, на нивах,
в пролитой крови, в глазах счастливых,
в мазовецких открытых просторах —

и чтоб мир был нам дорог.

На Среднем Востоке

Мне не нужны Палестины,
ираны, ираки, египты —
кипарисов милей мне калины,
березы милей эвкалиптов.

Сосен, как наши, здесь нету,
не те здесь тюльпаны, гвоздики, —
другого пришлите поэта,
чтоб вам про ливаны чирикал.

Давно отшумела здесь слава,
здесь клейма на всём – «Made in Britain»⁹, —
твое ныне слово, Варшава,
ты славой бессмертной покрыта!

Там ныне текут иорданы,
там фермопилы и трои,
там бесчисленно и безымянно
безвестные гибнут герои.

Там бой не смолкает жестокий,
враг жжет города без пощады, —

⁹ «Сделано в Британии» (англ.).

а я здесь брожу одинокий
и ногти грызу от досады.

Мне хоть на миг бы в Аллеи,
хоть каплю из чаши их горя —
не то я с тоски околею
у Средиземного моря.

War pictorial news¹⁰

Заботы меня связали,
но я не сдаюсь покамест.
Привык я уже к печали,
отчаянья не пугаюсь.

О, если б мне быть на фронте —
а здесь одиноко, грустно...
Сижу себе в «Орионе»,
смотрю pictorial news'ы.

Фугасы на Хамм и Эссен,
на Кёльн, на Берлин, на Штутгарт!
За бомбами следом – сердцем
спускаюсь на парашюте,

благословляю раны,

¹⁰ Военная кинохроника (*англ.*).

благословляю руины —
пусть ангелы-великаны
проносятся невредимы.

Но дальше пускают метры
каких-то глупых историй.
Уйду. Надоело смертно.
И буду думать о горе,

оно мне скрутило нервы,
нигде не дает покоя,
и сердце, взяв из резерва,
бросает в горнило боя!

Заботы меня связали,
и боль все острее, острее,
привык я давно к печали...
Ах, только б скорей, скорее!

Вечером

Тоска, черт возьми, кручина,
как липкая паутина,
так душу порой оплетает, —
ни тяжкий вздох, ни проклятья,
ни дружеское рукопожатье,
ни вид этих нив зеленых,

ни взгляд, в себя устремленный, —
ничто уж не помогает.

Ни то, что там, над дорогой,
увидю жестокие звезды...
И звезды мне не помогут!
Грустные, ночью поздней,
беззвучно вспыхнув сначала,
на дно упадут бокала
и выпьют бокал до дна...
И будет ночь холодна,
и кто-то окликнет тихо,
мне Родину голос напомнит!
Тихий в безмолвии комнат,
я в тишину скачусь
и в камень вдруг превращусь...

Молчание мне поможет,
и камень, что сверху положат,
могильный, и холод, которым дышу
так долго...
О чем я пишу?!

Палестинские пейзажи

I В горах Иудеи

Белые горы Иудеи
словно немые курганы,
тучи над ними сереют —
овцы Ливана.

Бродят верблюды, как овцы,
мирно по мертвым руинам,
к мертвым шагают колодцам
за бедуином.

Мрачный, бездомный блуждаю,
горечь разлита в эфире.
Я и лазурь неживая —
лишние в мире.

Прошлое глухо и немо,
и кипарисов сверканье —
словно в печальной поэме
знак восклицанья.

II Нагария

Вблизи Нагарии, чуть вправо
с дороги иерусалимской,
незыблем, как римское право,
стоит акведук римский,

воздвигнутый цезаря волей,
что делает люд рабами,
когда среди пожаров и воплей
рухнули стены Храма.

Укором иль похвалою,
он встал и стоит, дряхлея...
А Рим пребудет – водою
для Галилеи.

Скрываются в дальней дали
и пальмы, и арки, тая...
– Куда же ты, путник? – Развалин
величие я спасаю.

III Закат на Мёртвом море

Над Мертвым морем закаты
гибель пророчат тучам —

замкам воздушным, крылатым,
сказочным кручам.

Сожжет огнем их, расплавит —
пламень заката неистов.
Сжег он Содом кровавый,
город убийства.

Истории злым ураганом
стерты Содом и Гоморра,
и обрастают бурьяном
мертвые горы.

О, странник, не мешкай в прохладе,
во мраке небес и истории:
суд совершить тебе надо,
шаг свой ускорить!

Монте-Кассино

Край наш растоптан армадою адской,
в щепки разбиты столбы на границе...
Маршем Кресовой, маршем Карпатской —
так наступление наше вершится.

Наши границы? – ищи под ногами,
в грохоте танков, среди канонады.

Так нас учили сражаться с врагами
предки-изгнанники, предки-солдаты.

Маршем Карпатской, маршем Кресовой;
скачкою конной, движением пешим...
Враг не уйдёт от расплаты суровой —
пусть он силён и оружием увешан.

Маршем Кресовой, маршем Карпатской,
с грохотом движутся наши машины...
Поговорим мы с врагом посолдатски
в Монте-Кассино! В Монте-Кассино!

Те, кто погибнет в прекрасной Италии,
лягут в могилы. Судьбина такая.
А остальные – двинутся далее,
наши границы передвигая.

Наши границы? – «покуда мы живы»,
с нами, на этих нагорьях чужбины.
Гневно, кроваво идём под разрывы.
Наши границы – в Монте-Кассино.

«63»

Уяздовская аллея, где ж ты?
Есть Голгофа, аллеи – нету.

Я черчу аллею Надежды
и мост Победы.

Урбанистом я не был сроду,
с кирпичом не имел я дела,
но домчатся бы вещему слову
к тебе, Неподлегла!

Пусть вернуться улицам лица,
пусть посмотрят с прежним величием
Краковское и Валицув,
Круча, Вильча,

пусть разбитый лоб Жолибожа
отдохнет на груди Средьместья,
и вампиры шепчут: «О боже!
Наконец-то?!»

И, зарубленный, встанет Мокотув,
Прага встанет – в пепле лежала...
Воля встанет, встанет Охота,
и орлиные крылья к полету
расправит Варшава!

Могилы

Поле – густой ячмень да овес,

полоска с жиденьким ржи покровом...
Это было от города в паре верст,
близ тихого бора соснового.

Там невысокий холм был —
кучка сосен в дебрях малины.
Щенки, как мы пели хором:
«Стрелковая – в бой, дружина!»

Конспираторы (уж в карцере сижено!),
семиклассники, шелапуты,
о повстанцах мы пели возвышенно:
о сразивших их пулях,
о сдавивших их путах.

Это было перед прошлой войной...
В пятнадцать лет что малец успел?
Хоть петь и было запрещено,
повстанцы в могилах – но «Стрелок» наш пел.

Мы крали у немцев винтовки,
шел девятьсот пятнадцатый год.
Это было под сенью
Ольшины Гроховской —
хмурый в дни те над городом
нависал небосвод.

А после, снова и снова —
сколько лет, сколько крови и смерти!

Вповалку лежит под Ястковом
половина полка четвертого
с пулей в сердце.

А позже – Волынь, Кошици,
кресты берёзовые, могилы новые.
пожарища и пепелища,
леса сосновые...

Знаю: ширь варшавских бульваров
могилы покрыли.
О весне посреди завалов
люди забыли.

В прекрасной Варшаве, кровью залитой,
если мне хватит силы,
я склонюсь к мостовой, к кровавым плитам,
и поцелую могилы.

Знаю – здесь могилы все те же,
что под Слупном, под Боровицами...
Но как ни ломай нас,
не можем сломиться мы,
навсегда останемся прежними!

Могилы, могилы, могилы —
Мехов, и Ястков, и Нарвик...
Много надобно крови
и много надобно силы,

чтоб вернуться на Вислу и Нарев.

Сентябрьское солнце

Снова в Польшу вернусь я – там груши и сливы
в сентябре будут падать с тяжелых ветвей,
но под солнцем сентябрьским не буду счастливым,
никогда не расстанусь я с болью моей.

Это солнце, висевшее над горизонтом
и дававшее благословенье врагам, —
это солнце нас било грохочущим фронтом,
посылало снаряды фашистские нам.

Не застряли их танки в иссохших болотах,
самолетов их гул не смолкал никогда.
Моточасти – быстрее нашей польской пехоты,
и пылали оставленные города...

Солнце!

Остановил его кто-то когда-то?

Почему ж над Варшавой не меркло оно?

Солнце жгло и слепило героясолдата
на пути боевом, где от дыма черно.

Помню: огненным шаром оно над Варшавой,
и над Кутно, и над Вестерплатте стоит,

и восходит кроваво, и заходит кроваво,
словно бедствий земных его радует вид.

И с тех пор вижу солнце всегда не иначе
как набухшее гневом, и сверкает оно
в дымном пламени мужества, в горестном плаче,
темной кровью отчаяния обагрено.

О сентябрь! Ты минуешь кровавою датой,
наш закон и свобода растопчут змею.
Может быть, во враге вновь откроем мы брата
и победа в одну приведет нас семью, —

но сентябрьское солнце тех дней, тех страданий,
нашей крови и славы, повитой огнем,
будет проклято в песнях, легендах, сказаньях,
поколения не позабудут о нем.

Торжище

Плачь, моя муза-красавица,
утешительница печальных!
Сердце мое разрывается
в странах чужих и дальних.

Шторм качает моё жилище
вздохом яростным, сердца грохотом,

разум шепчет: «Держись, дружище!»,
ну а сердце: «А что, что потом?»

Словно рабыня нагая,
на рынке мы все безусловно.
Истории бич стегает,
в устах замирает слово.

«Сколько?» – cedят воротилы,
история-сводня – проворна,
а все же мы – Фермопилы,
рев пушек и рокот моторный!

Мы, Винкельриды Европы,
первыми призваны к бою,
мы острия вражьих копий
остановили собою.

Воют вокруг гиены,
торг исторгает рёв, и
никто не узнает цены
наших имен и крови.

Надeнут на нас вериги —
что те владыки, что эти,
а мы всё взыскуем Книги,
что учит жизни и смерти,

и замки, и рыцари в латах

из Святязи встанут к свету,
и Колокол грянет набатом,
на всю планету,

И землю промерят шагами
полки, из мёртвых восставши...
Солдаты отчизны! Пребудет с вами
одна поэзия наша.

Homo Sapiens

Вдоль мрачных стен по мрачным норам,
как будто стаи крыс гонимых,
волна к волне людское море
от страха жмётся на руинах.

Встают незрячие бродяги,
пригнутся долу, снова лягут,
грозя, хрипят в небесный купол,
мол, всё равно – что смерть, что голод,
и, проклиная бедность голой
земли, опять бредут по трупам
и тают в горизонте тусклом...

Я, мстительный пилот, лечу к ним,
буравит ночь прожектор сердца,
слова-фугасы, бомбы-строки

швыряю в светомаскировку,
как тот Четвёртый всадник смерти.

Вначале бомбу в мрак Берлина
за тяжесть преступлений кину,
за танковый удар по сёлам,
за хищный шабаш над Варшавой,
за пепелища и кровавый
поток. Я отвращенья полон
к высокомерью супостатов,
поправших имя человека, —
лети же, бомба, в их blackout'ы¹¹,
пусть сна не ведают вовеки.

Вторая бомба – в прах Катыни!
Пусть наши рыцари восстанут,
свидетельствуя каждой раной,
что кровь невинных не остынет,
она пролита палачами
в чужие, чёрствые, без всходов
поля забвенья и молчанья
за братство, равенство, свободу.

А третья бомба – в тех кто верит,
что можно армии без меры
вооружать, стравлять народы,
сгребая золотые всходы,
чтоб новые замыслить войны,

¹¹ Затемнение; провал в памяти (англ.).

чтоб заковать в броню солдата.
Я бью в них, гневный и спокойный.
Не надо золота. Кровь свята.

Ещё один фугас в запасе
до времени, когда угаснет
пожар войны и близок станет
День Гнева, светомаскировкой
укроют совесть...
Сгинут страны
в напёрстках олигархов ловких.
Когда в толпе уже не будет
по-польски слышно ни полслова,
пусть бомба боли все основы
взорвёт, как Иерихона трубы,
пучину совести вздымая,
чтоб на земного шара скальпе
поднялся против негодяев
спокойный, добрый – Homo Sapiens.

II

Mais si. Parlez d 'amour car tout le reste est crime.
*Louis Aragon*¹²

¹² Да, говорите о любви, ведь все другое преступление. Луи Арагон (фр.).

Прилив

Падали звёзды в пропасть прибоя,
в пене морской догорая.
Сердце тебе я нынче открою —
это прилив, дорогая!

Месяц по морю – помнишь тот вечер? —
двинулся вброд, напрямую;
волны, как будто тщетные речи,
попусту гибли, тоскуя,

волны катились и пропадали —
вроде любви нелепой,
и равнодушно звёзды слетали
с равнодушного неба.

Чувство твоё угасало до срока —
сгублено, словно чахоткой;
и горевал я о доле жестокой,
жизни любви короткой.

Чувство во мне возрастало упрямо,
сердце терзая и раня, —
стало подобно чудному храму,
где уже шло отпеванье.

Сгнули ночью глухоневою,
стихли признаний звуки.
Ты – не со мною. Ты – не со мною.
И не сплетутся руки.

Волны о берег яростно били,
злился вечерний ветер.
честными были мы, грустными были,
были одни на свете.

Рядом стояли. Вместе молчали.
Нежность касаний – чудо...
Я о разлуке забыл и печали —
и вспоминать не буду!

Помню любовь я. С нею в сравненье
море и звёзды – малость!
Мне она светит. Это свеченье —
всё, что со мной осталось.

С этой любовью всё мне подвластно —
вышнее и земное,
грозные волны пламенных, страстных
строк, не написанных мною.

Звёздный напиток – горький, дурманный —
пью я сегодня, рыдая.
Волны всё шепчут «люблю» неустанно.
Это прилив, дорогая!

Сон

Выключил лампу. Снова зажег.
Ночи бессонные ветром полны.
Нервы сгустились в безумный комок.
Сердце колотится, бьется в тревоге,
Ночью бессонной вижу я сны.

Это невроз, коньяк иль хамсин,
Иль от всего я, как факел, горю?
Сон, полный ярких, тревожных картин,
Сон мой слепящий тебе я дарю.

Иерусалим. Тихий дворик. Стена.
Голые камни. Как много здесь дня!
Ветви листвой одела весна.
Тонкая вишня цветами полна.
Ты в изумлень! То деревце – я!

Ты лишь взглянула – и через миг
Ветер безумный ворвался во двор,
Хрупкое деревце тут же настиг,
Вырвал его, в камни жесткие вбил,
Листья, цветы превратив в грязный сор.

Листика нет, ни цветка. Только ствол,

Знаю, что были недавно они.
Будто бы вихрь по саду прошёл,
Весь он трухою осыпан и гол.
Где же листва? Хоть слезу оброни.

Фрейд! Для чего мне теперь твой совет?
Что мне до истин, что знал много лет?!
Сердце болит. Ведь тебя уже нет.
Есть только ветер, хамсин, алкоголь.

Слово, явись! Вновь пылаю в огне.
Волны поэзии, хлыньте ко мне!
Вот и опять превратилось во прах
То, что когда-то было в мечтах
Маем цветущим в сияющем сне.

Warum?¹³

Нет больше слов. Ни одного...
А было их – не сосчитать.
Откуда ж радость? Отчего
так страшно за нее опять?

Опять, как много дней назад,
трепещет сердце ночь и день,
и слёзы блещут и кипят,

¹³ Почему? (нем.).

как наша польская сирень!

И нежность вновь. И моря шум.
И молчаливый лунный свет.
На шумановское «Wagun?»
«Люблю...» – чуть слышный твой ответ.

И нужно ль было столько мук
и столько вспышек грозowych,
когда прикосновенье рук
так много значит для двоих?

Малярия

Петухи распевают, часы отбивают,
малярия хинином ноет.
Снится мне, что ты мертвая, неживая,
но идешь со счастливым, со мною.

«Неужели мертва ты? Спаси меня, милая!
Расскажи мне, достанет ли мочи
целовать меня с тою же чудною силою,
что и в тысяча и одной ночи?»

Душу я потеряю, два созвездия с нею
и цветок джакаранды дивный...»
(Болен я, это знаю и брежу во сне я,

а во сне я такой наивный.)

Обращает ко мне свое личико ангельское,
словно не умирала, родная,
и тихонько «My darling...»¹⁴ мне шепчет по-английски,
почему не попольски – не знаю.

Петухи распевают, часы отбивают.
Никому их ударов не нужно.
Ах, нужны были сны в забытьи от хинина
с малярией ноющей, нудной.

Антиосеинее стихотворение

Хамсин налетел, засыпав глаза, раньше,
чем листья акаций увяли.
«Es kommt der Herbst»¹⁵, – герр доктор сказал,
но спорить мы с ним не стали.

Не сразу становится сочным плод,
а дерево – толще и выше.
Любимая, я уже пятый год
шум тополей не слышу.

В душе моей вечный весенний шум,

¹⁴ Мой милый (англ.).

¹⁵ Осень пришла (нем.).

поет он, гудит, нарастает.

Так чувствовал Шуман, помнишь «Wagum?»,
так и любовь созревает.

Осень? Листва желтизною горит?
Жизнь? И она уходит до срока...
Позволь мне выпить, черт побери,
и, выпив, вздохнуть глубоко.

И пусть моя песня средь бурь и гроз
звучит, печали не зная!
Букет душистых весенних роз
тебе принесу я, родная.

Ты глянешь в лицо мне, улыбкой лучась,
полна чарующей силы,
и даже твои морщинки у глаз
мне дороги будут и милы.

Происшествие с музыкой

Хоть и была очарована чудом —
Моцарта розовым скерцо,
шутку душа поняла – и откуда
боль эта колкая в сердце.

Через минуту-другую из мрака

плыло адажио жалоб,
звёздной гармонией, магией *largo*¹⁶
струны души дрожали.

Тут же смычки демонически остро
освободились от груза.
Гофман из Гданьска и граф Калиостро
вышли во фраках кургузых,

черной повязкой глаза завязали,
взяли под белые руки,
чтобы вести посреди истязаний
к новой неведомой муке.

Хочет душа убежать от потока
музыки – тщетны потуги,
режут и режут смычки *con fuoco*¹⁷,
Куклу заводят по кругу...

Время из темы Кукле исчезнуть —
слушатель ждет напрасно,
в сердце – фермата тоски, порезы
сочатся красным.

¹⁶ Очень медленно, протяжно (*ит.*).

¹⁷ С огнем, страстно (*ит.*).

Скорпион

Астрономию я изучал
по звездам Иерусалима,
я их подсчитывал и получал
в сумме тебя, любимая.

По вечерам в голубой вышине,
украшен звездной короной,
астроном лунноокий показывал мне
созвездие Скорпиона.

И поклонялся я звездным мирам,
лирик и оккультист:
твоя улыбка мне чудилась там,
где свет их особенно чист.

Но как-то так получилось у нас,
что месяц тебя я не видел.
Звезды зажглись – шар лунный погас.
словно на звезды в обиде.

Я шел куда-то. Был пьян слегка.
И ни одно из созвездий
не нравилось мне. Ты была далека,
я думать не смел о твоём приезде.

Впервые очнувшись от смутных снов,
душа содрогнулась от стога:
больше не было в сердце стихов,
а в небесах Скорпиона.

Враждебным созвездием ранен я был,
оно меня отравило,
и сколько б ни требовал я, ни просил —
все бесполезно было.

Письмо без адреса

Ожидание... Небо Иерусалима...
Ничего не осталось мне от любимой.
Не знаю даже (а старость все ближе!),
увидю ли Лондон, тебя увидю ль?

С утра коньяк, тоска, малярия,
все реже звучит это имя – Мария.
Твоя фотография – спутник мой,
жить по-другому теперь нет мочи:
я каждый день говорю с тобой —
с добрым утром, спокойной ночи.

Открываю коробку – копилку минут,
канувших в вечность. Все пусто и немо.
Цветы сухие и стеклышки тут —

поэма!

Ты стеклышки эти бросала в окно,
чтоб канули в бездну они... А ныне
дождь за окном, на душе темно —
пустыня.

А эти цветы и засохший лист
из писем, сожженных перед отъездом...
Смотрю, лирический оккультист,
в звездную бездну:

где ж Скорпион,
и где же ты?
Окончена поэма,
оборвались мечты...

Каждый день по авиапочте
писал бы утром: «День добрый, родная»,
писал бы вечером: «Спокойной ночи»...
Но почта пропадает, и я пропадаю.

Со злости

Тебя я любил бы (черт побери!),
когда бы не эти метанья:
тут злость, и тоска, и душа горит,

и преданность... сверх ожидания.

Да! Предан тебе я был бы, как пёс,
но знай: при твоей натуре
любой влюбленный такого б не снес,
в моей оказавшись шкуре.

Тебя всей душой (сто тысяч чертей!)
любил бы я (кровь из носа!),
но что-то творится с душой моей:
сомненья, терзанья, вопросы...

С твоей фотографией счеты веду
(черт бы побрал все это!).
Грехи твои вспомню – и, как на беду,
заснуть не могу до рассвета.

(О дьявол!) Я злюсь и к тому же раскис:
сам грешен, хотя и не очень —
вчера вот выпил... И пани Икс...
Но это так, между прочим.

До гроба я верен... Ну, хорошо...
(А, черт! Кого я ругаю?)
Моя дорогая, октябрь прошел,
проходит ноябрь, дорогая!

Любимая! Жизнь ведь проходит! Смотри:
мой стон не находит ответа.

Тебя я люблю (о черт побори!),
и меня убивает это.

Моя комната номер 2

«Я живу в стране паслёнов...» —
а напрасно, если честно,
мне здесь попросту позорно,
нестерпимо, горько, пресно.

Спозаранку у раввина
дверь откроется, и видно,
как старательно зануда
распевает из Талмуда.

После визави соседки
жидковато защебечут:
перепалка в пользу нищих.
«Где моя беретта?» – хнычу,
застрелил бы их, да нечем.

«В иерусалимском
переулке» пианистка мерит
пядью клавиши фальшиво;
всё по кругу – придушил бы.

Я приду домой в четыре,

аки перст единый в мире,
тошно мне – весь лоск растрочен
в лужах винных и коньячных.

Никаких стихотворений
(не впервые),
этой хреню
сыт (поздравь меня, подруга!)
под завязку; всё по кругу.

Мысли-мысли, как паслёны,
я торчу у телефона,
мучусь, маюсь, прозябаю,
не ручаюсь за себя я...
Телефон? – Да ни при чём он.

Джин Артур

Я был в кино, и актриса роста скромного,
красивая, милая, разве что без звездного лоска,
кого-то мне ярко напомнила,
хотя смотрелась, в общем, неброско.

Ту актрису из кино в Варшаве
я не забыл – но вот подумалось сейчас:
откуда столько у нее, при всей-то славе,
«гусиных лапок» было вокруг глаз?

Она выглядела, как моя жена
и еще кто-то, совсем недавно...
Март. Хамсин. Память напряжена.
Может быть, всё это неправда?

Помню Жолибож, сада цвет,
радость – глубокую и чуть тревожную.
А теперь я живу, как анахорет,
хотя знаю: долго так жить невозможно.

Я с тобой, Джин Артур, Мария,
красивая, милая, скромная!
Узы меж нами – живые,
ты была и осталась сном моим...

А там я – пышущий славянин
посреди Среднего Востока —
влюбился в некую пани (Джин
Артур?), бешено и жестоко!

И так с нею беседуем мы,
когда я по-английски брежу:
– Do you want to go without me?
Yes, my darling, but without pleasure¹⁸.

¹⁸ Ты хочешь уехать без меня? Да, любовь моя, но без радости (*англ.*).

Последнее стихотворение

Может, любила ты... Но не так,
не с той силою.
Вместе мы шли с тобой, но не в такт...
Прости, милая!..

Год буду помнить... Еще год...
Боль притупится.
Справим же тризну, пока трясет
огневица.

Нет, ты стиха поминальный звон
слышишь едва ли!
Мелкое чувство – из сердца вон!
Идешь далее.

Что мне осталось с этого дня,
если тебя нет?..
Только – поэзия. Та меня
не обманет.

Что мне осталось?.. Грусть за двоих...
Твой след потерял.
Только лишь грусть. Только мой стих...
Он мне верен.

К фотографии

*Пишу! – да, иногда в Ерусалим,
Но через Вавилон доходят письма,
И где я прав, и где пересолил -
Не важно мне... пишу дневник артиста.
Безумный, говорю с собой самим,
И слог коряв! – но всё же к правде близко!*

Норвид¹⁹

Тут уж не нежность – растравленность,
не отчаянье – тошно, скука,
а сначала-то показалось ведь —
трагедия входит без стука.

Милая... Да какое там «милая»?
В мире бескрайнем
нет её! Я б хотел, чтоб любила меня,
но – хожу неприкаянный.

Хотел бы сгинуть – видно, невмочь мне,
всё как в тумане...
Смотрю на твою карточку, дочка, —
болван болваном.

¹⁹ Ц. К. Норвид. «Ладони натрудив рукоплесканьем...». Перевод Д. Самойлова.

Против женщин

Мало от женщин я видел любви...
(Вздых сожаленья. Рифма: «увы».)
А не то я жил бы совсем иначе:
не знал, что такое бессонные ночи,
радостный поднимался б с утра,
и была бы тут рифма: «ура».
Выпускал бы я больше книг,
меньше закладывал за воротник
(по крайней мере,
я в это верю).
Не лез бы в Вийоны или в Бодлеры,
берег бы нервы, —
да я вообще своротил бы горы,
кабы не эти стервы!

Причины пьянства

Я проснулся часу в четвертом.
В голове моей мысль стучится:
если жизнь такая, ни к чёрту,
надо проще к ней относиться.

Тем не менее – «в сердце рана»...

Чтобы сладить с этой прорухой,
коньячку дёрнул я полстакана
и с утра нахожусь «под мухой».

К...

Вздохнуть не трудно, такую встретив:
«Мила... прелестна...»
Но эти очи и слёзы эти
достойны песни...

Как в южном небе, там звезды тонут
в густых ресницах.
Несчастье, если их знойный омут
мне станет сниться.

Сравнить их с Гоплом? С ночною Вислой?
С фиалкой? – Мало!
Цветок волшебней создать не мыслил
Иван Купала.

Глазам печальным, тоску их чуя,
на память – стих мой...
«Прощай, колдунья!» – тебе шепчу я
вслед, с грустью тихой.

Доисторическая прогулка

В саду, в первозданной гуще
перед заходом солнца
папоротниковые кущи
глядят в водяные оконца.

Есть там странная птица —
как бишь ее... прилетала в сны...
Попугаев непуганых вереница
растянула радугу
во-от такой вышины!

Циклопы там на котурнах
гуляют и в спорах бурных
друг дружке корчат рожи
(не шабаш, но похоже).

И мирно дремлет на Древе
познания, среди ветвей,
совершенно безвредный,
добропорядочный змей.

И лишь на Яблоне,
хищной Яблоне,
покачиваясь, как во хмелю,
растет и зреет

медленно, яростно
злодейское слово: люблю.

Моему сердцу в Палестине

Жизнь безоглядной чередой дней
мчится... Может быть, это
лишь призрак во сне
иной части света?

Иль снова мучусь мечтой больной?
Вправду, не верится,
что это голод любви иной,
иной части сердца.

Иль под гору тронулась жизнь моя
(чтоб согнуть где-то)?
На что мне тогда иные края
иной части света, —

и тут и там этой жизни бег —
путаный, смутный.
Лишь то, что утратил, — со мной навек,
ежеминутно.

Натюрморт

А прилягу-ка я на диванчик,
дорогие мои мадонны,
потому что принял стаканчик
и теперь я маленько сонный.

Полежу, сочиню стишок, —
ну-ка, что вдохновит поэта?
Вот разбитой рюмки бочок,
вот бутылка бурого цвета.

(Живописнейшие детали
взору вдумчивому предстали!)

Вот жестянка из-под сардин,
вот букетик – принес тут один —
розовые цветочки...

От мандаринов рыжие шкурки,
под потолком – две летучих фигурки:
мои приемные дочки.

Одна голубая, слегка закругленная,
другая – вот странное дело! —
снаружи белее мела,
а в серёдке зеленая.

Пора бай-бай, повернись к стене:
глазеть в потолок – рискованный спорт.
А ты... и ты... нарисуйте-ка мне
этот простой натюрморт.

Цыганка

Разве ты цыганской крови?
Удивлён:
юбка узкого покроя,
волосы как лён.

Но сулит твоё гаданье-
ворожба беду:
пьяным мальчиком в тумане
тернии пройду.

Оказалось по ладони,
по раскладу карт,
что немного я стою —
бог с ним, виноват.

Упорхнешь, зеленоока,
в клубах табака...
Буду помнить, как ты локон
крутишь у виска.

Чернокнижие

Я возжаждал власти магической,
запредельных ее начал,
и тебе – чернокнижник лирический —
«Фокус-покус!» громово кричал.

Ты пришла опоясана радугой,
как приходит весной гроза.
Разноцветным сверканьем на́долго
ослепила мои глаза.

Превратилась в рощи весенние,
в облака, в луговую цветь.
Мне и миру даря вдохновение,
приказала петь.

Я вошел с беспечной отвагою
в край волшебных твоих затей,
но свою позабыл я магию,
зачарованный чародей.

Лишь кудрей перепутанных золото
да зеленые искорки глаз, —
и уж твердость моя расколота,
и порыв надежды угас.

Ты, бывало, на палец, как волосы,
навивала мою печаль...
На иное заклятье нет голоса
иль бывшего заклятья жаль?

Калине

Нет, я рыдал
не о тебе той ночью!
И ввысь бросал двустрочья,
чтоб стих, как месяц, в небе встал воочью.

Быть может – слышишь ли меня, калина? —
над ним хоть кто-то погрустит немного!
А я, собрав все беды воедино,
пойду, ногами побреду босыми
куда глаза глядят... Пойду глухими
путями... Не твоей – другой дорогой.

Всё отошло. И я об этом плачу.
Но что-то с нами навсегда... Иначе
стихи пишу, ночей не сплю совсем —
зачем?

О калифе

Неужто не знаешь, чьё имя
стоит за стихами моими?

Курил наргиле я с калифом,
хотел отлучиться, ан... лихо
калиф мне башку отрубает,
на очереди – другая.

А в ней – пустяки, цветочки —
для ста Барвистанов рассада.
Срезай, не томи, если хочешь,
но прежде – понять бы их надо.

Зелёное стихотворение

Мало мне нужно на свете:
тебя и ветви,
чтобы в оконной раме
качнулись, зазеленев,
чтоб я писал стихами
о том, что... каждый нерв,
каждый миг одиночества,
боль, – ее пульс частый, —

злое таит пророчество,
шепчет: несчастный...

Мало мне нужно на свете, —
но это весь свет, может стать! —
тебя,
зеленые ветви,
и чтоб в листьях акаций
ветер шуршал, рябя,
и чтобы на сердце – покой,
и чтоб котенок стал занавеской играть,
а мне – сидеть на крылечке день-деньской
и ничего не знать.

Всё я напутал,
это – неправда как будто...
Но отчего так больно, так больно?..
Верно, я больше уже ничего не скажу,
верно, я в грозную тишь ухожу
невольно.
Мало мне нужно на свете:
тебя и зеленые ветви.

Зелёный холм

Холм зеленый в камнях белых —
если б мог, теперь бы

по нему с дочуркой бегал,
на траве сидел бы
и следил за облаками,
чепуху болтая.
Узок мир, зато какая
тут жара большая.

Я любил бы Иоасю,
доченьку-болтушку.
– Цыц! – сказал бы я пространству,
оседлал бы тучку,
полетел на туче белой
в долину Розтоки,
чтобы там прожить век целый,
ходить с Анкой в горы,
глядеть на Гаврань и Мурань,
влезать бы в потоки.

Только Анка далеко и уже выросла,
да и облачко меня в милый край не вынесло.
Но зеленый вспомню холм
Иерусалимский —
и тогда мне чудится, что дочурка близко.

Отвести меня туда никто не сможет,
и никто тут ничем не поможет.
До свиданья, Алиция и Кристина,
вы пойдёте горою, а я долиной.

Бинокль

На тебя смотреть нельзя —
ведь ты зла.
Как бинокль твои глаза —
два стекла.

Хочешь, чтобы был далёк, —
вот и зла?
Так переверни бинокль —
два стекла.

Аноним

Как рокот созвучий, как запах шальной
нависшей над Вислой сирени,
как счастье, плывущее сонной волной
сквозь день мазовецкий весенний.

Как то, чего нет еще, что — как намёк
в порывах робко-тревожных
растет, как подснежники, как выюнок
у ног берёз придорожных,
как зелень ликующим майским днем,
как паводка буйный подвиг,

как ласточки, что бороздят окоем
по две...

Как вольный, широкий полет орла,
как светлая власть над Словом —
такой она в сердце моем жила
и грузом легла свинцовым.

Счастье

Со встречи той вечерней
мне кажется все чаще,
что счастье мое, верно, —
зеленое, как чаща.

Пусть вьется эта зелень
ночей моих бессонных,
пьянит меня, как зелье
очей твоих зеленых.

Пусть я на дне пребуду,
где плавает в молчанье
чешуйчатое чудо
с зелеными очами,
зелеными до дрожи...
Где всё на сон похоже.

Пред сном, хоть по ошибке,
прочти придумку эту...
Что – счастье?..
Дар улыбки
взамен на дар поэта.

Безнадежность

На перекрестке сяду, «автостопом»
могу добраться...
Но ты права, и прав мой горький опыт,
что всё – напрасно.

Для вечности себя одел стихами —
так обряжали мумий,
но до сих пор кустарника дыханье
не зарифмую.

Но веет ветер средиземноморский,
тоскою огорошив...
А любишь ты накручивать прическу,
а любишь ты цветы
и кошек.

Такою ты навечно в память вкралась,
и беспричинно
ты будешь, будешь, будешь накручивать на палец

мою кручину.

Уедешь, став легендою высокою.

Что ж, будь здорова.

Прошла ты мимо, как весна веселая,
которую я видел из острога.

На прощанье

И стихи нам уже не помогут,
и слёзы с вином,
и отныне по разным дорогам
с тобою пойдем.

Но стих сочится, сочится
совсем как кровь,
и в сердце смешались чисто
гнев и любовь.

Но вино течет ручеечком,
как кровь течет.
Нет спасенья мне – знаю точно.
Дразни еще...

Но слёзы, живые, горькие,
текут всерьёз.
И, наверно, ты скажешь только:

– Жалко слёз.

Уедешь, красивая, ветреная,
забудешь меня, наверное.
Ответь, есть какой-то смысл
в нежности этих ресниц,
если факелом был
мгновение?

Что ты дала мне?

Что ты дала мне? – то, что даёт
долго не вядший цветок на окне.
Имя – поэме дала. И – на год
печаль оставила мне.

III

*Nessun maggior dolore, che ricordarsi
del tempo felice nella miseria²⁰.*

²⁰ «Тот страдает высшей мукой,/ Кто радостные помнит времена/В несчастьи...» (*Данте Алигьери*. Божественная комедия. Ад. Песнь пятая. Перевод М. Лозинского).

Мария

Картофель делишь бережно и строго,
а ум уже другой заботой занят:
из лавки – счет, на обувь – хоть немного...
Нет, неостанет...

И снова к добрым ты идешь знакомым.
(Куда теперь их доброта девалась!)
– Вот – мыло... Что? Не нужно?.. – И пред домом
другим стоишь, преодолев усталость.

Вечерняя работа... – Кофе чашку? —
Ты подаешь... Минутка перерыва.
Стоишь и улыбаешься с натяжкой,
слеза из-под ресниц блестит пугливо.

А ночью, может быть, придет гестапо.
Заплачет дочка... Вскочишь ты мгновенно,
и будут шарить грязные их лапы
в моем столе... Во всем, что сокровенно.

Неужто всё в тебе война убила?!
Я – далеко... Но слышишь ли, родная,
что я в порывах ветра с прежней сплю
к тебе взываю?..

Рука умершей

На востоке падает ввысь звезда,
утопая в молоке рассвета.
Выше – созвездие Южного Креста
погружается в небо антрацитного цвета.

Со мной кипарис у тьмы на рубеже
мрачно стоит со звездами в кроне.
Я тоже мрачен, все знаю уже,
ломая руки стою на балконе.

От моря и ветра синееет мгла,
в стакане – вино пустота сменяет.
Внезапно блеснула в изломе стекла
звезда, что ее мне напоминает.

Когда улетают за грань бытия,
со лба ниспадает звезда такая.
Нет, это просто слеза моя,
ее в остатки вина макаю.

Серебряно-синяя веет мгла,
сейчас меня всего охватит.
Скажи мне, милая, ты здесь прошла?
Твоя рука мои волосы гладит?

На западе розой рассвет горит
и солнце полной чашей плеснуло.
Рассеян миф. Стакан разбит.
А руку дерево мне протянуло.

Тела

Миру – благо,
миру – прибыльток,
а мне немного:
тела убитых.

Если поднимут
воскресших из тла,
мир обнимут
убитых тела:

тела детей
со dna крематория
будут лететь
над всей историей,

тела девчат,
тела юнцов,
над ними чад
терновых венцов,

тела солдат,
что во рвах ютятся,
пойдут побеждать —
освободятся,

тела из траншей,
из могилки временных,
с веревкой на шее,
тела расстрелянных,

тела затоптанных,
тела гонимых,
нахлынут толпами
непримиримых!

Докажут делом
свою правоту!
А мне с одним телом —
невозмогу.

Баллада

– Милая жена, до встречи, —
говорю перед попойкой.
(Вижу: страх согнул ей плечи,
знаю: сердце сжалось, ойкнув.)

– Мой любимый, мой бедняжка,
ляг, хинин тебе поможет.

– Да, попойка – труд. И тяжкий.
Редко кто вернуться может.

– Без тебя все пусто станет.
Не пришлешь ли мне подарка?

– Если сил на то достанет,
поцелуй пришлю я жаркий.

– Мы друг друга так любили,
шли всегда одной дорогой.

– Милая, ведь ты в могиле,
подожди меня немного.

– Ты придешь, мы встанем рано
и отправимся в Муранов.

На Налевках, Новом Свете
ждут нас маленькие дети.

– Дети все с тобою рядом,
без венков, цветов и ленты.

Их откапывать не надо,
вырастают пусть в легенды.

– Если вырастут, весной
будешь ты копать могилы.

– Да, себе, тебе, со мною
чтоб всегда была ты.

– Милый,

ты устанешь, может статься?

– Но ведь нам не возвращаться.

Жена

Облаков безумный гомон,
цвет на цвет идет войною.
Ствол у дерева обломан.
Дом. Жена к стене спиною.

Здесь: Чарнецкого... И следом:
80. Садик, лето...
«Ждать ли мне его с обедом
или загуляет где-то?..»

Я иду, поскольку должен.
Мой автобус «М». Я вышел.
Я нашел себя, я дожил,
чтоб найти себя, я выжил.

А жена глядит из двери,
и в глазах ее тревога.
Я не знаю о потере,
в сердце мир и счастья много...

У меня скитаний стая.
И тюрьма. За ней – Освенцим.
«Светлой памяти, родная», —
повторяю с горьким сердцем.

Я и стихи

Думают, стихосложение —
как солдатское «ать-два»,
маршируют отделенья,
строятся в ряды слова.

На стихи давно б я плюнул,
но не в силах перестать:
черт какой-то мне подсунул
надоевшую тетрадь.

И у черта план роскошный,
чтоб такое я загнул,
чтобы небу стало тошно
и чтоб лопнул Вельзевул.

Вот я и веду бессменно,
закрепляя каждый миг,
из скитаний по вселенной
свой космический дневник.

В прошлом – Лондона туманы,
недоснившиеся сны...
Как на эти все романы
поглядеть со стороны?

И другое есть в сознание,
но охватывает страх
вплоть до сердца замиранья
думать о таких вещах!..

Есть мучительное право
знать, что мир зажат в тиски,
вспоминать дано Варшаву
до мучительной тоски.

Кровь и гибель в миг тоски я
словно вижу наяву.
Именем твоим, Мария,
я бессонницу зову...

Думал я: в дыму стеная,
Старый город пал... И вот
плачу я... Прости, родная!
А отчаянье растёт...

Но, беспомощный, неловкий,
всё в Леванте, у воды,
обучаю маршировке
стихотворные лады...

Это мне не нужно лично
и не нужно никому.
Родина ведь безгранична,
сердцу нужды нет в дому...

«Баллады и романсы»

«Девушка, слушай!.. Не слышит... Послушай...
День озарил твой поселок зеленый...»
Пусто в поселке, поселок разрушен,
рыжая Ривка одна на руинах,
бедный тринадцатилетний ребенок.

Толстые немцы проехали в танке.
(Эй, убегай же, несчастная Ривка!)
«Мать под землею, отец мой в Майданеке...» —
Вдруг рассмеялась и скрылась с улыбкой.

Ехал знакомый из Любартова:
«Вот тебе булка, поешь... будь здорова...»
Взяв, откусила, сверкнула зубами:
«Я отнесу это батьке да маме».

Ехал крестьянин и бросил ей злотый,
ехала баба и кинула что-то,
много людей проезжало, глядели:

ноженьки босы, лохмотья на теле.

Ехал Христос со страдальческим взглядом,
немцы везли его снова на муки.
Ривку с Иисусом поставили рядом,
взяли винтовки эсэсовцы в руки.

«Девушка, слушай, за рыжие косы,
слушай, Христос, за венец твой терновый,
за то, что вы оба и голы и босы
и оба евреи, ублюдки Иеговы,
оба сейчас подлежите расстрелу —
вот приговор наш по вашему делу».

Лишь в Галилею их стон докатился,
в ангела каждый из них превратился,
грянули залпы, взмывая все выше...
«Девушка, слушай!..» Она уж не слышит...

Моя родная

Я не хочу в поэзии лгать,
она не должна, не может быть лживой.
С тобой же смеяться хочу и рыдать,
пока мы живы.

Родная, взгляни на лазурный свод,

на снег посмотри – какой он белый!
На лыжах своих перейди на тот,
счастливый берег.

Решеток в этой комнате нет,
весною солнце ее наполнит...
Ты знаешь, не спал я тысячу лет,
ко сну меня клонит.

С тобой вдвоем на вершинах гор
костры мы разложим порой ночью.
Вспыхнут пожары, голод и мор —
будь в мыслях со мною.

Пусть холод зимний, пусть летний зной —
все так же люблю тебя, в радости, в горе.
Решеток здесь нет. Есть берег другой —
и крематорий.

Ненаписанные стихи





Декабрьский ветер воет, воет все ночи напролет.
Не спится.

И сердце глухо в грудь стучит и хочет вырваться
навек.

Я слышу вас, сердца людские, сквозь ветер
и в тюрьме, в темнице,
хоть ночь вокруг, во мне, я вижу всех вас, когда
смыкаю веки.

Но как до вас я докричусь? – В гортани сжатый голос
треснет.

Какие подберу слова, чтобы проникли в ваши души?

Вы ночью плачете, мечтая, чтобы мои вам лгали
песни,

а ночь, ко мне подкравшись, в горло вцепляется
и душит, душит.

Певучей ложью не предам вас, не оскорблю
подачкой слуха,

не сброшу, будто крышку гроба, с вас этой ночи груз
бессонный.

Вы слышите: шумят над вами века, столетия, так
глухо,

и слово падает обломком, куском Самсоновой колонны.

Вас погребут беззвездной ночью, такой же,
как сейчас над нами,

глаза и рот песком засыплют, затопчут наскоро

могилы,
а голос, прилетевший с ветром, начнут отталкивать
крестами.

На реке

Конец дороги всё ближе,
за днём убегает день,
текут к окончанию срока
волны и времена.

Как в негативе, вижу
вместо сиянья тень,
когда я пою одиноко
на зыбком борту челна.

Сокроется всё от взора,
затянется пеленой,
не буду спорить с рекою —
сяду и руки скрещу,
и сердце отвыкнет скоро
от радости всякой земной,
смерть явится, тронет рукою —
внимания не обращу.

Самоубийца

По комнате он прошагал всю ночь,
от двери к окнам, снова до порога.
Но сердцу стало хуже. Не помочь.
Ну, успокойся, сердце, хоть немного.

Он вышел ранним утром. Был туман,
вся зелень в майской кутерьме звенела.
Весна звала и веяла дурман,
и голова кружилась и пьянела.

Но взгляд его в себя был обращен,
глазам незрячим в мире всё не любо.
Ознобом странным был охвачен он:
кривился рот, дробь выбивали зубы.

Он капюшоном, как крылом, прикрыл
лёд синих глаз, их пламя голубое
(тут ветер набежал, туман поплыл.
Ну, успокойся, сердце, что с тобою?).

На что же синие глаза глядят?
Какую бездну эта гладь скрывает?
От белого тумана слепнет взгляд
и к бездне: «Поглоти меня!» – взывает.

И солнце, окропляя эшафот,
отрубленную головой восходит.
Предмет холодный в руки он берет...
«А стоит ли?» – нежданно мысль приходит.

Критикам

Пишу. А больше – что сказать мне?
Так – буквы заносу в тетради...
В строю военном не шагать мне,
не числюсь в МОПРе на окладе.

Пишу. Я рифмодел, художник.
Люблю людей, их век короткий.
Я, в общем, то же, что сапожник,
но – время на моей колодке.

Я стягиваю, точно дратвой,
слова, что с ходу не сольются:
восторг и боль, посев и жатву.
И это – вклад мой в революцию.

Не поступлю наперекор я
ни партии, ни «Инпрекору»,
но стих – он не статья спецкора,
не Станде с Гемпелями споры.

Людская радость, счастье, горе —
мой матерьял, моя статистика!
Друзья – вот строф моих подспорье,
их кровь живая, а не мистика.

Стихи – писать или читать их
горазд порой и неученый,
лишь нужен ум особой стати,
диалектизмом оснащенный.

Пусть дар меня на день оставил —
ведь «отклоняться» тоже нужно,
я чту первейшее из правил:
ничто людское мне не чуждо.

Как ни старайся, всё не так им —
тем, кто стихов не понимает.
Меня ж стихи ведут в атаку —
стихом люблю, стихом страдаю!

Да, эти песни жить хотели,
как ветер жив, пока он дует.
Стих хворый не достигнет цели,
а мертвый – прихвостень буржуев!

И надо слушать без иронии,
чтобы проникнуть в сердце семени.
Стих сдан – теперь он в обороне
от критиков, цензур и времени.

Город

От бойни жижа течет из кювета
на грязную улицу мерзкой лавой.
Шныряют по городу до рассвета
вор, проститутка, филёр и легавый.

По ратушной площади мимо централа
свой груз повезли золотарь с живодером,
в борделе труба граммофона взыграла,
жрут «монопольку» филёр с сутенером.

Под утро, собрав по шинкам и малинам,
в участок доставят шальную ораву,
и – в зубы тычком, и дубинкой по спинам
пройдутся, потешась, филёр и легавый.

Рожу распухшую свесит день-висельник
над вереницей домов и лавок.
В городе – те же: нож и сифилис,
вор, проститутка, филёр и легавый.

Вам, спящим, бац в окна – ставни ограда ль
мещанским сердцам и шкуры побрам? —
мой стих, что наутро сожрут, как падаль,
филёр вместе с цензором и прокурором!

Охранка

Гнали в Ратушу нас под стражей
из Охранки, ведь это близко,
пальцы мазали чёрной сажей,
чтобы на карточке их оттиснуть.

Там фотограф затвором щёлкал:
в профиль, в фас, в шляпе и без,
а потом ввели всю пятёрку
до Охранки, в обратный рейс.

Надо будет скорей вернуться
в тот притон, грязный и гадкий,
и забрать в музей Революции
ещё свежие отпечатки.

Пригодятся в будущей схватке
рук следы на казённом бланке:
надо знать, чьих же пальцев хватка
придушила филёров Охранки.

Ненаписанные стихи

Чей это всхлип или тихий смешок
там, во тьме законной?
Вот он опять, этот странный стишок,
так и не сочиненный.

Только уснешь – разгоняет сон
струнный, серебряный звон,
а за окном нарастает гул —
грозный, со всех сторон.

Лбом о стекло ледяное – шарах!
– Кто там? Не видно ни зги...
Мягко во мраке крадется страх,
молча сужает круги.

Звезды блеснули, не слышно вдали
звона и гула,
только тревога туже петли
горло стянула.

Звезды блеснули хищно и зло —
демон стоглавый.
Ночи расплавленное стекло
струится лавой.

Выбежать прочь и завывать как пёс:
песня моя убита!
Вон она, сброшена под откос,
кровью залита!

Это она кричала в ночи,
в окошко билась...
Не надо, сердце, молчи, молчи,
тебе приснилось.

Просто донесся чей-то смешок,
просто во мрак законный
снова ушел этот странный стишок
так и не сочиненный.

Поэты

День голода, огня, чумы
идет на нас в огне столетий.
Поэзии свободной дети,
что можем мы?

Из берегов выходят воды,
тоска теснит нам грудь.
К распутью, друг свободы,
и выбери свой путь!

На нас идет беда —
жестокая история:
жгут села, рушат города,
громят лаборатории.

Мгновенно расплзается
в развалинах зараза,
народ бежать кидается,
отравлен газом.

Когда, тупы и бледны,
чудовища лезут на свет,
становятся ох как нужны
слова!

Твоё слово, поэт!

Хор I

В страшный час помолимся снова
пока не в бездне, а в яви.

Да вострепещет виновный.

Бог нас оставил.

Хор II

Ни вины, ни бога не знаем,
нам неведом страх поражения!

В руинах живут дела, и
разум ведет к свершеньям!

Хор I

Злые орды, как вороны,
Знамён полотнища рвут.

В какую рвануться сторону?

Мир кровью залит по грудь.

Хор II

В нас меры и эталоны.
Души ясны.
Это нашей знамёна
кровью красны.

Хор I

Словно царь Иксион,
отдан мир на мученье.
Сядь, Судия, на трон.
Свершись, Откровенье!

Хор II

В нас есть и сила, и воля —
потоп остановим плотиной.
Засеем голое поле
и выстоим – мы едины!

* * *

Волшебные и колдовские,

в своей лазури утонули.
Несчастье глаза такие:
приснились раз, – все сны спугнули.

А как назвать их? – Висла? Гопло?
Печаль славянская в них плещет.
Слеза скатилась и просохла,
а в них огонь купальский блещет.

Как две весны, где льда обломки,
пруды, где неба слишком много,
и в берегах, до самой кромки —
и восхищенье, и тревога.

Нырнуть бы в синий ад плавучий,
чтоб захлебнулся от тоски я.
Пускай обворожат, замучат
глаза такие колдовские.

* * *

В тучах крыльями блистаем.
Там орел – наш горный брат —
дарит нашей смелой стае
мир, что грозами объят.

Вдаль, туда, за океаны,
где неведомые страны,
грозен путь!
В вышину, где стратосфера,
где не воздухом, но верой
дышит грудь!

Летчик, бурями живущий,
в те края, где рая кущи,
дальние моря,
снежная заря, —
смело мчится,
чтоб, как птица,
там блеснуть.

Ввысь — к звезде путеводной,
хоть в пучине холодной
смерть нас ждет!
Нас об этом просила
наша юная сила,
сердца взлет!

* * *

«Человек это звучит гордо», —
сказал покойный Максим,

а меж тем: тут колотят в морду,
говоря, что ты сукин сын.

Что же делать такому сыну
за решеткой НКВД?..
Так помолимся мы матерщиной
потускнелой алой звезде.

Февраль 1940

Скитальческая армия

Там, на Ухте, на Сосьве
корабельные высятся сосны,
могучи, красивы и рослы.
Изо всей мы их силы
топорами косили —
не для Польши, нет: для России...

Добывали мы уголь
близ Полярного круга,
и сплавливали мы лес на Печоре,
и гнала нас недоля
на распутья, на поле,
в тайгу, в тундру, за горы, за море...

Туго было нам, братцы,
но нельзя было сдаться,

подобало держаться нам твёрдо.
В лагеря или тюрьмы,
как на фронте на штурм, мы
по-солдатски шли, с честью и гордо.

Нынче в теплой кантине,
при вине и дивчине,
вспоминаем, как где-то на Ладоге
тиф нас и малярия
косяками морили,
как в дороге нас тысячи падали.

К счастью, вырвались мы
из зимы Колымы,
Воркуты, и Читы, и Тобольщины.
Через море Каспийское
и пустыню ливийскую
прямиком продвигаемся в Польшу мы.

К аравийской границе
подвезут амуницию,
в карабины патроны мы вставим...
Танки в ряд, артиллерия —
и победы феерия
грянет в бранях нам после скитаний!

Польский город Багдад

Ну не все ль равно, что сплошь
в картографии все ложь?
И без Рбмера известно,
повторять я это рад:
в мире чудное есть место —
польский городок Багдад.

Если ты в него пролез,
видишь минаретов лес
и арабов тьму в Багдаде.
Но родной вдруг слышишь лад:
«Пан капрал, бакшиш. Поладим?» —
польский городок Багдад!

Хочешь смейся, хочешь плачь!
Что ни день, то польский матч,
или польский театр живучий
посещает этот град.
Здесь у вас знакомых куча —
польский городок Багдад!

Ты в кафе зашел на миг,
просто кофе пить привык,
и задел когото: «soгу».
А в ответ: «пошел ты в зад!»,

словно на родном просторе.
Польский городок Багдад!

К сожалению, есть там
«Polish Major Town»²¹,
так напейся: завтра, может,
все в кутузку угодят.
И ничем вам не поможет
польский городок Багдад.

Где-то ведь на свете есть
этот город или весь?
Воеводство? Пóвят?
Я не знаю. Но подряд
ткнешь в кого-то – «Пóбляк».
Польский городок Багдад!

* * *

Всё нам, солдатам, едино,
вражья пуля зацепит – ну что же:
отмерят малость земли нам
где-то на бездорожье.

Всё нам, солдатам, едино,

²¹ «Главный польский город» (*англ.*) [военная администрация].

тут точный подсчет бессмыслен,
сколько отмерят земли нам
на восток и на запад от Вислы.

Мы сами, солдаты-хваты,
штыком ли, ножей ли лезвиями,
прорвёмся – до Вислы и Варты,
до Балтики, до Силезии!

Потолкуем без шуток
о Вильне, Кшеменце и Львове;
не уступим и Новогрудок —
Адам, лови на слове!

Нас давят – мы одолеваем,
их силища, а мы вольные...
Шагаем, шагаем, шагаем,
живые и павшие воины!

Ни Урала, ни Колымы
(хватит, наездились в гости!) —
хотим мы польской зимы,
чтоб грела польские кости.

Кто враг нам, того поразит
штык наш в самое сердце.
Пасть духом нам не грозит —
мы будем биться до смерти,
будем биться по смерти...

Eine Nachtausgabe²²

Зарёкся – не буду. И – срыв,
ты в мыслях моих все чаще,
вырастаешь в легенду, в миф,
вырастаешь во мне в несчастье.

Началось, как шалость,
с лентой, с неохотой, прыг-скок,
а потом заплелось, смешалось:
я влюбился в тебя, как щенок.

И стихов были горы
(спасибо! спасибо, милая!),
и вдруг: «трепач» – приговор,
ты не со мной, словно смыло...

Что же делать, один на один с водкой?
Ночью корчась в рыданьях, как быть?
Я скажу тебе коротко —
попробуй меня любить.

²² Ночная сводка (нем.).

* * *

Как-то ехал по Гедере —
прицепилася geweret²³.
Говорю ей: не судьба,
ну, shalom, toda raba!²⁴
Нет, зовёт, едва дыша:
Wakasha да wakasha!²⁵
Ладно, пани, reg'ahat²⁶,
я ведь всюду нарасхват.

* * *

Возле Яффских врат, зевая
в кофейне базарной,
помаленьку умираю,
трачу жизнь бездарно.

В Катамон идёт «четверка»,

²³ Дама, госпожа (*ивр.*).

²⁴ Прощай, большое спасибо! (*ивр.*).

²⁵ Пожалуйста (*ивр.*).

²⁶ Одна минута (*ивр.*).

по долине кружит...
Не поеду. Мне с пригорка
виден мир не хуже.

Палестина – это пытка:
нудно! нудно! нудно!
Жить ещё одна попытка?
Вряд ли, слишком трудно.

Смерть придет. Я жду и верю.
Медлит отчего-то...
Приоткрыты в вечность двери —
Яффские ворота.

Третий день малярии

Когда уже не знаешь, что делать,
что делать тогда?
Бритва? Нет, скверный способ,
и найдут без труда.

Жаль, не при мне парабеллум —
его изъяли.
Веревка? нет, не к лицу мне —
это для носильщиков на вокзале.

Дурачусь, дурачусь, дурачусь,

а только всё ясней:
сколько ни пей – ничего не значит,
не заснуть, хоть убей.

Хожу, как с перерезанным горлом,
к небу глаза, рад бы...
и ведь знаю, знаю – нельзя любить мертвую,
а любить – надо.

Надежда



I

Надежда

1

Земля, расцветающая порою весеннею,
осенью плодоносящая, сердца веселя, —
я люблю тебя, моя драгоценная
земля.

Если бы у меня в руке были молнии,
я бы бросил тебе их с небес:
пусть поля твои
на лемеха возьмут себе.

Земля, накопившая в недрах веками
уголь, железо, нефть,
заклинаю тебя солнечными лучами:
да будет свет!

Пускай рабочий, трудом истомленный
из века в век,
встанет на земле своей распрявленный,
говоря: я – человек.

2

Американцы, передавали по радио,
вооружают западных немцев,
и те, привычно оружию радуясь,
спешат по привычке в доспехи одеться.

Сто миллиардов с лишним
американского вооружения!
Это рывкнуто так, чтобы слышно
стало следующим поколениям.

Войной окровавленное поколение,
эпоха, в которую живем и творим,
говорит: «Война – преступление!
Не хотим!»

Мы новых открытий жаждем упрямо,
наши сердца влекут нас вперед,
и это не химеры Нотр-Дама,
это социализма победный ход.

3

Наши луга расцвелись к лету,

так же, как и по всему свету;
земной шар открывается людям,
мы его крепко
любим.

Наша забота – пахать землю,
зерно взрастить, что в глубинах дремлет;
наша обязанность – за эти зёрна
драться упорно.

Драться за человечности ценность,
за землю, возделанную трудом.
Будущее зовет к себе нас.
Мы идем.

4

Как прекрасно под Куйбышевом
раскинулись пышные нивы,
здесь под русским широким небом
рождаются новые мифы.

Будет в клещи взята здесь река
железобетонной оправой.
Это дело людей на века!
Слава!

Лес преградит пути суховею,
волны в жерла турбин низринутся,
свет заблещет над ширью всею,
реки в нашу сторону двинутся.

Земля русская,
украинская,
и таджикская,
и грузинская,
земля,
земля,
будь прославлена каждая земля!

5

Весело думать, что в Москве
живёт Сталин.
Весело думать, что в Москве
думает Сталин.

Эти мысли – источник света,
радий жизни в груди.
Страна Советов,
вперёд веди!

6

*Я пишу эти стихи 17 января, в годовщину
вступления польских и советских войск в Варшаву.*

О дивный день!
О Мария, умершая Мария, какой чудесный день!
Россия, Польша, какой прекрасный перелом,
какой прекрасный день!
Лобзать кирпич окровавленных стен Варшавы!
Любить людей!
Какой прекрасный день!
Какой прекрасный день!

7

Прекрасен шар земной,
слава ему!
Всем людям одинаково родной,
слава ему!

Мы держим на руках,
хоть тяжек этот дар,
как яблоню в цветах,
земной шар.

Землю трясет ураганом,
рев вихря жесток и бешен,
но мы против злобы встанем
с надеждой!

Мы здание мира возводим,
его не разрушить невеждам.
Запрет на атом —
народов надежда.

Пусть кровь Кореи не льется,
враги, себя злобой не тешьте.
Змеиный ваш шип оборвется:
надежда!

Мир смоет войны бесчестье,
сошьет разделенных прежде;
сошьются навеки вместе
их воля и их надежда.

Домой!

На севере дальнем разрушенный дом,

но будут в нем радость, свобода и счастье.
Эй, снова возьмемся за плуг и за лом,
пора нам домой возвращаться!

Пусть похоронные звоны слышны
и горе бредет по руинам, —
как птицы из дальней, чужой стороны,
вернемся мы к нивам родимым.

Пора возвращаться, пора
и жизнь воскресить на могилах.
Рука не держала давно топора,
но в ней неиссякающая сила.

Впряжем в старый пястовский плуг
железных коней мы, их нефтью заправим.
Земля хлебопашцу! И нет больше слуг!
Свобода! И братство! И право!

Горняк, за кирку снова взяться пора,
спуститься в забытую штольню
и уголь опять выдавать на-гора,
чтоб жили богато, привольно!

И черное золото вновь повезут
пусть к Щецину, Гдыне и Гданьску.
И радостен будет упорный наш труд
для Польши рабочей – не панской!

Пусть трубы, как лес, заслонят небосвод,
пусть в Лодзи шумят веретена прядилен,
чтоб мог приодеться, как в праздник, народ,
в обнови ребят чтоб своих нарядил он.

И в наших литейных пусть плавится сталь,
пусть льется потоком чугунная лава!
Воскреснув, пусть снова уносятся вдаль
по гулким дорогам стальные составы!

Воскресни, Варшава, свободна от пут,
воспрянь обновленной из мрака былого!
Строитель и зодчий тебя создадут,
прославит поэзии гордое слово.

Единое сердце сплотившихся масс —
вот облик воспрянувшей родины нашей.
Пора возвращаться! Ждет родина нас,
дома ждут, заводы и пашни.

Пусть землю придется руками пахать,
искать среди руин каждый камень пригодный,
но будем мы строить и сердцем мучать
на родине нашей свободной.

Ей руки нужны, и сердца, и умы —
иначе она не воскреснет,
а дом свой отстроим, – тогда снова мы
любовь воспоем, моя песня!

Наш май

Уголь

Шахтер, стремись добыть побольше
угля для новой, вольной Польши.
Дроби пласты!.. План выполняя,
одержишь ли победу в мае?
Ты должен в дни предмайской вахты
добыть втрое угля из шахты;
пускай составы с кладом черным
летят к заводам, домнам, горнам.
Маршевка, Пстровский! Все к победам
должны идти за ними следом,
и поговоркой станет скоро:
«работать надо, как шахтеры!»
Зовут их передовиками:
их руки – сталь, сердца их – пламя!

Железо

Горят и пышут жаром печи,
чугун струится, искры мечет.
Друг-металлург, бей в наковальню,

чтобы железо стало сталью.
Пусть будут рельсы высшей марки,
пусть для мостов рождаются арки,
пускай машин стальные части
придут на фабрики, как счастье,
пускай гремит в железной песне
призыв могучий: вместе, вместе!..
Всё ныне – собственность народа:
поля, заводы, пароходы,
отчизна с каждым днем всё краше,
ей отдаем упорство наше!

Трактор

Сквозь сотни рук проходит трактор,
рождаясь на свет победным фактом.
На бронзе цифры Плана высечь:
Даст «Урсус» тракторов сто тысяч!
Здесь жадно ждут болты и гайки
начала сборки, сварки, спайки, —
хотят, чтоб инженер и слесарь
их силой сделали прогресса,
чтоб шли они, как полк пехоты,
под песнь моторов на работу,
тащили б сеялки и плуги,
а люди пели бы в округе,
что мы идем к счастливой жизни,

что хлеба хватит всем в Отчизне!

Деревня

Машины, только что с завода,
уже идут по полю взводом,
как танки, только не для боя —
для мира, счастья и покоя.
Наш землероб, узнавший волю,
зерно на общем сеет поле.
На мудро вспаханном, свободном,
огромном поле плодородном
растит стране буханку хлеба
не «хлоп», что верил пану слепо, —
крестьянин вольный и богатый,
что строит школы, клубы, хаты...
Вокруг все польское, родное,
усадьбу строя – Польшу строим!

Варшава

Варшава! Все, что ты возводишь,
твердит о славе и свободе.
Еще не залечивши раны,
Мокотов строишь ты, Муранов;
ты строишь сотни зданий сразу,

с размахом и энтузиазмом.
Жизнь расцвела на пепле гетто...
«В – З»... О, стоило за это
сражаться, чтоб поднять Варшаву!
(Рифмуем с ней – кирпич кровавый.)
Но кровь – советских, польских армий —
впиталась в почву здесь не даром:
вступили мы на путь свободы,
а завтра вступят все народы!

Демонстрация

Звенит от края и до края
над вольной Польшей песня Мая.
Как юность, радостна она,
победоносна, как весна,
как знамя, красным цветом брызжет.
Ее поют в Москве, в Париже,
петь будут скоро песню эту
все страны света, вся планета!
Идут Охота, Прага, Воля,
сыны заводов, штолен, поля,
ткачи, шахтеры, металлисты,
и молодежь! За ними Висла
и Татры. Блещут стяги Мая,
огонь их Висла отражает...
Тот Май, что видели мы с вами,

какими передать словами?

Майская песнь

Ты помнишь облик Варшавы
минувших жестоких годин,
когда и под пыткой кровавой
сверкала красой среди руин,
горела порывом к свершеньям,
надеждой и волей сильна?
Сегодня побед воплощеньем
встает перед миром она!

А Лодзи ты знаешь обличье?
Встает в пролетарском величье,
сурова, упорна, грозна.
За труд, за свободу, за право
боролась отважно она;
бессмертной овееяна славой,
теперь она сотнями труб
приветствует радостный труд!

А видел Домброву ты ныне,
Силезию в гуле труда?
Гляди: это уголь наш в Гдыне
огромные грузят суда!
Гляди, как страна расцветает:

встают из руин города,
по рельсам бегут поезда,
и флаг наш на мачтах сверкает!

Поэтому в день Первомая,
былое добром поминая,
мы выйдем под шелест знамён,
уверенно путь пролагая
к величью грядущих времён,
в прекрасную явь воплощая
веками взлелеянный сон!

Первое мая

*Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром наше знамя реет
и несет клич борьбы, мести гром,
семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет:
то наша кровь горит огнем,
то кровь работников на нем!*

Болеслав Червенский²⁷

Тема? – Река. Место действия? – Свет.
Цель? – Счастье. Враг? – Капитал.

²⁷ Красное знамя. Перевод Г. Кржижановского.

Мы сквозь решетки глядели на свет —
молот стальной решетки сломал.

Мы выйдем на улицы Первого мая
во всех столицах шара земного,
крепко друг другу руки сжимая,
каждого примем, как брата родного.

Каждого?! Нет!
Ибо гнев жжет огнем,
ибо есть троны и мир капитала.
Наше знамя? Цвет его – алый,
«то кровь работников на нем!»

Мы... а вернее, наши отцы
(сколько лет назад?..)
в Лодзи, в Варшаве шли, как бойцы,
на Первомай,
как на бой...
Троны и банки еще стоят...
Выше алый стяг подымай!
Стяг этот твой!

Был Пятый год, был Семнадцатый год,
сверкал Петроград, вдохновляя народ,—
на смерть сражаясь с врагами,
Октябрь поднял красное знамя!

Это же знамя шумело в Мадриде,

песни звенели в этом же ритме.
В Граммосе горном, в варшавском предместье
те же сердца, те же песни.

Будут свободны от гнета все страны!
Будет сломлен фронт Гоминьдана,
сгинут и Сити, и Уоллстрит —
свобода весь мир озарит.

Мир, мир, мир народам!
Братство всех рас и племен!
Вперед – первомайским походом,
под лесом красных знамен!

В грядущее – молот, кирка, плуг!
Вперед – в лучистую даль!
И ты вместе с ними, писатель-друг,
слово – сталь!

Пятьдесят восемь лет
мы празднуем Первомай.
Товарищ, ты завоюешь весь свет!
В работе – мужай!

Профессиональные союзы

Не было в Польше профсоюзов,

был только дым труб.
Хозяин царил над толпой синемблузой,
мастер был нагл и груб.

Пятнадцать часов в цехе фабричном,
гроши за неделю труда.
И темп! Темп работы ритмичный...
Радовались господа.

Росли Шайблеры и Лильпопы,
росли их барыши.
Трубы росли. Из деревни шли хлопцы
на каторжный труд за гроши.

Дети росли в сточных канавах,
рос голод, туберкулез.
На улицах кнут творил расправу,
текли реки крови и слез.

Не было в Польше Великой Коммуны
и баррикад Июля,
но молниестрелы для смелых и юных
ковались в фабричном гуле.

Год тысяча восемьсот семьдесят шестой
создал для стачек кассы.
Товарищи вышли, как гвардия в бой,
ведя за собой массы.

Путь преградила к светлой цели
тень виселиц над столицей.
Под ней остались в Цитадели
Оссовский, Бардовский, Куницкий.

Стачки... Локауты... Минули годы.
Лились майские песни свободы,
как воды, прорвавшие шлюзы.

Девятьсот пятый!.. Из крови и гнета
росли для нас,
росли наши славные профсоюзы!
И выросли гордо
на радость народа
Польша, сбросившей узы!

Мы создаем города,
мы создаем человека!
Биенье сердца – мерило труда
на стройке нового века.

Стены вздымаются ввысь,
бодро жужжат веретёна.
Польша входит в Социализм
единой, неугнетенной!

Трасса «В – З», «Солдек», Забже.
Больше стали, угля нам нужно!
Быстрее и лучше! Сегодня и завтра!

Дружно!
Дружно!
Дружно!

Дружно, с любым справимся грузом,
вперед – за новую жизнь.
Создал профсоюзы,
побратал профсоюзы
Социализм.

Бытие определяет сознание

Невесёлые эти дали —
терриконы, отвалы, клетки...
Кто такой пролетарий?
Тот, кому ничего не светит.

Что ж о горьком думать, тоскуя?
Но и не замечаться б тоже!
Сегодня, друзья, хочу я
радости подытожить.

Тогда-то мы и тогда-то
одержали ещё победу.
Спросят меня ребята:
«Пап, а масло будет к обеду?»

Жена улыбнется: «Странно!
Так трудился – и не замотан!»
«Я же вкалывал не для пана,
я на социализм работал!

Я сегодня одной киркою
врубался, как сотни тысяч.
На триста план перекрою!
И больше сумею высечь!»

Шахта, отвалов камень,
конторы чёрное зданье...
Будущее перед нами!
Бытие определяет сознание!

Мост Понятовского

Польша в руинах,
мрак, бездорожье.
Нас угнетали веками,
но не погибла,
погибнуть не может,
мы возродим ее
сами.

К небу взывает
пепел Варшавы.

Сотни и тысячи
с ломами вышли.

Из щебня истории,
из осколков славы
мост воздвигаем
над Вислой.

Дети народа —
враг не сломил их
в годы военной невзгоды —
строят сегодня
с гневом, с азартом.

Своды под небо!
Арки на своды!
Выше!
К социализму!
В светлое Завтра!

Мост для народа —
в этом награда.
Больше упорства,
мужества больше!
Массы пройдут здесь
мощным парадом.
Мост создаем —
Польшу.

Двадцать второе июля

Двадцать второе июля. Варшава в огненном зареве.
Буг перейден. К оружию! Свобода уже видна!
Смертельный враг отступает, в наступлении
братские армии.

Каждый живой – сражайся! В военных пожарах
страна.

Пять лет мы трудились яростно на пепелищах,
руинах.

Поля распаханы плугом, и города поднялись.

И уголь – шахтерская слава – мчится, словно
стремнина,

по тысяче новых дорог. Польша растет ввысь.

Пробивает в камне Варшава дорогу «В – З», чтоб
вздымала

четвертый свой мост Висла – и дальше,
на Мариенштадт!

На восток! На запад! Прямо! Скорости мало! Мало!

Общий Дом пусть, сияя, встанет в честь твою,
пролетариат.

Строитель, быстрее кирпичи клади: каждый кирпич —
победа,

шахтер, в пласты врубайся: каждая тонна – триумф,
пусть заводы трубят о том, что живет Неподлегла,

что в соревновании крепнут руки, сердце и ум.

Над Силезией дым фабричный – выплавляется

больше стали,

Лодзь прядет на множестве кросен – километры
пряжи слились.

О, товарищи, до крови руки натрудим, чтобы вращали
в Польшу июльские рифмы: победа и социализм.

Пятьдесят

Осенний вечер, как палач,
во мраке сонный город топит.
На площадях – лишь ветра плач
да патрулей тяжелый топот.
Октябрь. Шестнадцатая ночь...
Внезапно адский рев моторов
кошмаром сотрясает город.
Варшаве спать уже невмочь.

Прищутив веки занавесок,
она считает: девять... десять...
Не спит Варшава – словно лев,
напряжена и непокорна,
она лежит во сне притворном,
тая презрение и гнев.

Не спит... И вражьи батальоны
напрасно рвутся на восток.
Уже с неделю эшелоны

горят у взорванных мостов.
И по откосам вдоль дороги —
стрельба и ругань, крик и стон.
Уже неделю по тревоге
немецкий поднят гарнизон,
и ночь варшавская привыкла
к сухому треску мотоциклов...

Тугая горсть осенней тьмы
сдавила здание тюрьмы.
Вдруг смерть пробилась сквозь решетки
зловещим сполохом лучей,
и шагом равнодушно-четким,
и жестким скрежетом ключей.

Подсчет был короток и точен,
и – всё. Конец. Надежды нет.
И криком боли в горле ночи
застрял несбыточный рассвет.

Их было пятьдесят. По группам
разбили их, втолкнули грубо
в пустые пасти кузовов.
И вот уж – Воля, Влохи, Двожец...
Как знамя, рея и тревожа,
растет далекий гул боев.

Смотри на них, моя Варшава!
Они – борьба твоя и слава,

судьбою пламенной своей
они учили нас сражаться
и умирать, но не сдаваться
во имя наших сыновей.
Мы отомстим за них, Варшава!
Шутам коварным и кровавым,
несущим рабство и позор,
нигде не скрыться от расплаты,
и будет беспощадно краток
наш справедливый приговор.

Их было только пятьдесят.
Их заточили в каземат
с варшавских фабрик и заводов.
Всю жизнь короткую свою
они прожили как в бою
за нашу Польшу, за свободу.

Их было только пятьдесят,
но следом тысячи солдат
пошли в сраженья и невзгоды
за счастье нашего народа.

Их было только пятьдесят,
а гнев и боль в виски стучат!

Товарищи лежат в могилах,
и я писать уже не в силах...

Для кого стихи?

*На Лодзинской ткацкой фабрике
им. Гарнама второй молодежной бригаде
присвоено имя Владислава Броневского.*

Не так это вовсе просто,
а кажется – вещь простая,
ты думаешь: кончится с ростом,
а с ростом того не оставишь.

Рифма тянет и школьников в классах,
и профессоров седовласых,
и рабочих передовых,
и даже глухонемых.
Только это не виршеплетство,
не напыщенное пророчество;
в польской речи прочно и просто
людям высказать себя хочется,

объяснить, что хотят миллионы,
описать их поступки и лица,
разгадать, к чему они склонны,
чтоб душой с ними слиться

во имя огромного дела —
достоинства человека, —

чтобы лучшая рифма взлетела
к вершине века.

И тогда в стихах, как и в прозе,
закаты усилий стоили.
Спасибо ткачам из Лодзи
за то, что имя мое
своей бригаде присвоили.

Колокол в Плоцке

Колокол по погибшим под Варной
бил девять раз.
Пал король державный
с войском храбрым,
а колокол бил девять раз,
пока не смерклось.

Катилась Висла у Добжиня,
багровое солнце лизало поверхность
волн, темнел сосновый бор,
мазовецкая серела равнина —
стоял Мазовецкий замок,
стояла святыня!

Так было сотни лет,
звон тот слышали я и мой дед.

Под каштанами за Тумом
мы пригоршней черпали сумерки,
как ворожейный купальский цвет.

А звон накатывал огромной тучей,
горней кручей,
девять раз
и сотни лет.

Чему же века научили нас,
внемлющих этот дальний глас?
Как под Варной —
стоять!
Тут и смерть принять.

Моя библиотека

Этих полок с поры довоенной – со мной ряд
с дырявыми от пуль томами.
Бури войн, бывает, мирволят —
поэтому я между вами.

Помню мифов лепет убогий
и ложь средневековья...
Что же мне осталось в итоге
для здоровья?

Не рог Роланда, не меч Дон Кихота,
не простодушный Кандид —
прежде бравая книга пехота
мне нынче мало чем подсобит.

Не Байрон с Шекспиром, не Гёте,
не их стих сурововысокий;
даже Норвид – и тот не
оставил мне строки.

И Словацкий слово мне свое живое
(как там: «попугаем и павлином...»)
не оставил – а ведь у него я
учился глубинам!

Это всё сохранил бы я в памяти,
добровольно, неутомим,
но – одна, и другая пришла метель,
и покойной жены помин...

Ничего-то не пронес из книг тех
сквозь грозу я,
кроме чудной путеводной нити,
что весь мир связует.

Я в отбитых обозах советских
в девятнадцатом, двадцатом (молодо-зелено!)
читал – подпоручик – не по-детски
книги Ленина...

...Ночь красит зарниц пожарище,
жизнь в позднюю входит пору...
Спасибо вам, товарищи,
за поцелуй Альманзора!

Поклон Октябрьской революции

Кланяюсь русской Революции
шапкой до земли, попольски,
делу всенародному,
советскому, могучему,
пролетариям, крестьянам, войску!

Только шляпа в поклоне не вельможная:
над околышем нет перышка цапли!
Это ссыльная, польская, острожная,
шлиссельбуржца Варынского шапка.

В холопах мы жить не охочи,
к царям не ходили с поклоном.
И с плеткою царскою кончено,
подняться время пришло нам.

Кланяюсь праху Рылеева,
кланяюсь праху Желябова,
кланяюсь праху павших

борцов за народное счастье.

Мавзоль Ленина прост, как мысль.
Мысль Ленина проста, как деяние.
Деяние Ленина просто и велико,
как Революция.

Кланяюсь могилам Сталинграда
и могилам до Берлина от Москвы,—
после лет осколочного града
в Завтра мы по ним мостим мосты.

И на русской и на польской почве,
кровью политой и так любимой нами,—
жизнь в цвету: уже раскрылись почки
у могил с родными именами.

Капля крови

Добудь каплю крови.
Только потом
можешь браться за стихотворенье,
и пусть она в горле стоит твоим,
предшествуя слов рождению.

И пусть слова твои станут стеной,
оградой державы польской...

Польша? – это река и лес за рекой,
трамвай на улице Вольской.

Польша – это работать, Польша – жить,
трудиться неутомимо.

Польша умеет врагов своих бить,
но Польша жаждет мира.

Повесть о жизни и смерти Кароля Вальтера Сверчевского, рабочего и генерала

I

Не каждый славится песней громкой,
не каждому памятник воздвигают,
не всякую песню помнят потомки,
не всякий памятник сохраняют.

Надо выковать цепь своих лет,
как звено – каждый год закаленный,
и в труде пронести через весь свет,
жизнь лишь правдой цветет неуклонной.

Этой цепью весь шар земной,
как невесту, украсить лентой,—
кто живет так, тому суждено

над всем миром сиять легендой.

Он укажет звездою полярной
путь для тех, кто в потемках бредет,
он засветит зарей лучезарной,
он посетит сев зёрен янтарный,
о таких вот и песня поет.

II

Будет повесть о нем величава,
она не нуждается в ореоле.
Кароль родился в Варшаве,
он сын рабочего с Воли.

Будет повесть о нем пролетарской
и начнется с тех лет проклятых,
когда били нагайкой царской
на улицах и в казематах.

На Качьей он бегал, проказил,
год прошел Девятьсот Пятый,
во дворе все углы облазил
мальчик ловкий, молодеватый.

По Железной, по Вольской в те годы
он носился, пуская змея.

Приходил отец поздно с завода,
спать ложился еще позднее.

Был он добрый, ласкал сынишку,
на колени сажал, дав конфету,
вынимал нелегальную книжку
и читал, читал до рассвета.

И о крови, что лили тираны,
иногда тихо пел он, читая,
утром шел на работу рано,
спрятав книжку надежно в сарае.

Не прочел Кароль эту книжку,
но узнал он много у жизни,
мостовые Варшавы парнишку
учили социализму.

Ш

Отец умер. Надо быть сильным.
Стиснув зубы, бороться он хочет.
Кароль взялся тогда за напильник,
у Герляха стал рабочим.

Он теперь всей семьи опора,
и надежда ее, и гордость.

Подружился он с красными скоро,
проявились в нем сила и твердость.

Светит взгляд его ясный и чистый,
словно отблеском стали серым.
Как отец, он стал металлистом,
как отец, стал революционером.

Он как взрослый, совсем как большие.
Год четырнадцатый нахлынул.
Весь завод уезжает в Россию,
Кароль город родной покинул.

IV

Рушится фронт. Рушится трон.
Это Семнадцатый год.
Заревом красным со всех сторон
заря над миром встает.

Выстрел с «Авроры» уже возвестил
Октябрьский праздник.
На площадь к дворцу повалил
черный люд разный.

Не сброд, а народ рабочий,
солдаты и моряки,

улица залпом грохочет,
восстали большевики!

Выстрел с «Авроры» гремит
для всех поколений,
на всю Россию, на весь мир:
Победа! Свобода! Ленин!

V

Расшумелась октябрьская песня
и с ветрами в степных раздольях
разносилась вдали повсеместно...
Он на фронт пошел добровольцем.

Ведь везде, где в грозе военной
поднимает свобода знамя,
там поляки в строю неизменно
маршируют с другими борцами.

Мерный шаг измеряет равнину,
сжали пальцы винтовку, твердея, —
всю Россию и Украину
так прошел он, красногвардеец.

Были штурмы, атаки, походы,
были Врангель, Юденич, Деникин,

шел он, красный солдат пехоты,
ни пред кем в боях не поник он.

Зимний холод, распутица, вёрсты,
голод, раны, вши да больницы,
кровь на земле высыхала черствой,
так ширились республик границы.

Был он взводным и ротным и верно
бил по цели с цепью стрелковой,
командир боевой, примерный,
прямодушный, сердечный, суровый.

Кароль с белыми дрался смело,
расправлялся со сворой барской,
его сердце билось, кипело
революцией пролетарской.

VI

Во взрывчатой смеси начало свободы,
многоязычной толпы громада,
на своих костях ты счастье народа
строишь, Четырнадцатая бригада.

Напирают фашистские орды,
хотят из народа вытянуть жилы.

Название «Интернациональной» ты гордо
под красным знаменем заслужила.

Это братский знак, понятный, знакомый —
кулак, поднятый над головой!
No pasaran! И отзвуком грома:
«последний и решительный бой...»

Со всей Европы для удара
идут пролетарии
в Мадрид и в Гвадалахару,
в Сьюдад Университариа.

Кто же ведет тебя к славе,
командует массой, в бригаду сбитой?
Металлист, рабочий из Варшавы,
генерал Вальтер знаменитый!

Среди полей Испании знойной
сражаясь с фашистским скопом,
под пулями не сгибаясь, спокойно
проходит он над окопом.

Штурм Сарагосы. Рев металла...
«Орудия на передовую!»
Уже бригада дивизией стала,
время и кровь текут не впустую...

Снова, солдат, уходи скитаться,

затишье сейчас на краю переднем,
но и завтра будет кровь проливаться —
бой этот не был последним.

VII

Дороги войны не пройти просто,
не одна задержит преграда.
Встал немецкий «Drang nach Osten»²⁸
у Сталинграда.

Орудия, танки завязли надолго,
обрушилась, огневая,
другая стальная волна – от Волги
к Шпрее.

В руинах Польша геройски
с сентября ведет бой кровавый,
сражается польское войско
в Варшаве.

Генерал дошел до Вислы,
армию организуя.
Через реку летят его мысли,
зачерпнул, пьет воду речную.

²⁸ «Натиск на восток» (нем.).

«Генерал, из цепи вражьей
с того берега нас обстреляли...»
Разве кто из солдат прикажет
генералу?

Он бросился в воду, как прыгают дети,
радуга в брызгах повисла...
«Всех рек дороже на свете
Висла».

Как древний Ахилл, закаленный
купаньем в стиксовой бездне,
он армию вел неуклонно
на Дрезден.

Под обстрелом, в огне наступлений,
среди минометов, у батареи
пишет поэт сражений
эпопею...

Уже весна. Год Сорок Пятый.
На Берлин дорога открыта.
Смолкли орудий раскаты,
трупы зарыты.

Над разбитым городом солнце восходит,
жито шумит на взрытом поле.
Рабочим – хлеб и станок на заводе,
крестьянам – земля и воля!

Раскроем объятия от счастья,
радость в сердцах не вместится:
Одра и Ниса! Балтика настезь!
Железо! Уголь! Пшеница!

Строясь, встает из руин Варшава
в бетоне, известке, асфальте.
Армия на страже границ и права,
в армии – генерал Вальтер.

Еще рыскают по лесам фашисты,
каиново отродье.
Армия из народа, она очистит
землю Польши народной.

Генерал, как всегда, неусыпно, храбро,
полный вниманья, участия,
теперь над Саном, как раньше над Эбро,
каждый день объезжает части.

Сам у руля. Две машины с отрядом
впереди, а третья сзади.
Стоп! Внезапно под Балигродом
выстрелы из засады.

«Все из машин! Вперед! На высотку!»
Рассыпалась цепью охрана,
с пригорка пули звякают четко,
бандиты стреляют рьяно.

Меток бандитский огонь прицельный,
ранено наших немало,
сам генерал ранен смертельно,
пуля вторая просвистала.

Светят глаза вождя, догорая,
смотрят сурово, строго:
«Поднимите... Я умираю...
Не оставьте здесь, на дороге...»

IX

Не о каждом песня поется,
но хранит народная память
это имя: оно вознесется
легендою над веками.

Ему памятник – наша армия
и трубы фабричные в дыме.
Песнь начнет мастерская токарная
с волнами Вислы седыми.

Вы слышите – шумным плеском
волны поют, заиграли
о Вальтере-Сверчевском,
о рабочем и генерале.

Слово о Сталине

I

Век девятнадцатый погас,
как в полутьме фабричных зданий
перед рассветом гаснет газ, —
век забастовок и воззваний,
когда еще рабочий класс
земли не сдвинул с основанья.

Маркс огласил свой «Манифест» с трибуны.
Кричали перестуки телеграфов
о мощи Бисмарка, о гибели Коммуны,
о нарастанье кризисов и крахов.

Росли прядильные Манчестера и Лодзи.
Плясали акции под звон и лязг металла.
В подвалы,
в чердаки,

в предместьях
шло предгрозые.
Шли толпы.
Человечество восстало.

О песнь Потье! Кровавым битвам вторя,
звени и пой далеким поколениям!
О «революция, локомотив истории»,
тебя предвидел Маркс, тебя направил Ленин.

Век девятнадцатый погас,
как гаснет газ в рассветной дали,
когда в борьбу рабочих масс
вошел двадцатилетний Сталин.

II

Не испугаться, не отстраниться,
когда история страшнее сказок.
А жизнь прекрасна. Ее страницы —
тайга Сибири, хребет Кавказа.

Лжет тишина тюремных камер,
в подземной глубине бьют ключи.
Бьют буревестники крылами,
зарю зовущие в ночи.

Пускай кренится алое знамя
на демонстрации тбилисской.
В России вспыхнет грозное пламя.
Мир озарится нетленной искрой!

Девятьсот Пятый рассеет мрак.
Октябрь откроет ворота настежь.
Напрасно ты бьешься, хитрый враг,
напрасно правду Партии застишь!

Везде, где кровь, где огонь и дым,
где боль и гнев, где стонет рабочий,
там голос Партии непобедим,
она – маяк в беспредельной ночи.

III

Революция, локомотив деяний,
хвала твоим машинистам!
Враг не потушит твоих сияний,
хвала пылающим искрам!

Слава тем, что в метельном поле
тверже гранита встали,
как воплощенные разум и воля,
как Сталин!

Сгнула белогвардейская орава,
сгнула, не возвратится.
Выстоял прочный, вечный, как слава,
юный Царицын.

Шли напролом фашистов колонны,
били свинцовым градом,—
спят, сожжены огнем непреклонным
под Сталинградом.

Миром, благословенным трижды,
дышит вселенная вся.
Знамя Советов, вольно паришь ты,
стражу над веком неся!

IV

Двадцатый век расщепляет атом.
Рухнула Хиросима.
Бомба, грозящая взрывом проклятым,
разве непобедима?

Вражьи войска иль скалы расколешь,
будто лесные орехи,
иль повернуть назад приневолишь
неукротимые реки?

Дадим мы пустыням прохладу рек,
пустыни наполним жизнью,
направим дальше двадцатый век
к счастью всемирной отчизны.

Мы ветром повиты, солнцем облиты,
не знаем пути назад,—
мы строим Речь Посполиту
крестьян, рабочих, солдат.

V

Мчится история дальше.
Век семафором открыт.
Без славословья и фальши
революция говорит.

Славу ее Машинисту
ветры земные трубят —
другу, вождю, коммунисту,—
имя его как набат.

VI

Кто выстоял шторма десятилетий
на капитанской рубке? Только он.

Шестая часть планетной суши светит
для всей планеты, утвердив закон.

Там – стачки, безработица, нужда.
Здесь – вольный труд простого человека.
Его рука спокойна и тверда.
она творит историю от века.

Кто вел народы сквозь десятилетия
к вершинам созиданья? Он, один,
открыл дорогу к счастью всей планете,—
непобедим!

Кто ветер революции стреножит,
закон движенья вечного поправ?
Она сама все кодексы низложит
и свергнет все таблицы римских прав!

Семидесятилетняя заря
встает над миром, бурями объятым.
Грядущее растет из Октября,
и старый мир взрывается, как атом.

VII

На нашей земле
могил миллионы,

на нашей земле,
огнем опаленной.

На нашей земле
за ключьями дыма,
на нашей земле
зола Освенцима.

Средь пепла и тленья
расцвет плодоносный.
Здесь дремлют растенья,
рождаются весны.

Для гордой Варшавы,
для гордой Москвы,
годины кровавые,
кончились вы!

Мы в рукопожатье
непобедимом,
борцы и братья
в строю едином...

VIII

Миллионы граждан Советского Союза и граждане стран, идущих той же дорогой социализма, строят но-

вый мир и несут в сердцах имя Сталина.

Народная армия Китая изгоняет из страны чужеземных насильников, свергает господство капитала.

Идет вперед и вперед с именем Сталина.

В Бирме, Вьетнаме, в Малайе солдаты свободы и правды борются с колонизаторами. Они побеждают именем Сталина.

Французские горняки стойко несут вахту в дни забастовок. Простирая руки на восток, они восклицают: «Сталин!»

Итальянские крестьяне отбирают пустующие помещичьи земли. А если их гонят оттуда силой, они зывают: «Сталин!»

Поэт, изгнанный на чужбину за то, что любит свободу и правду, прекрасный чилийский поэт пишет поэму о Сталине.

Жестоко истерзанная Варшава быстрее восстанавливает стены, обогранные кровью, ибо работает с именем Сталина.

Везде и всюду, где еще царят произвол толстосума, штык наемного солдата, дубинка полицейского, люди борются и побеждают именем Сталина.

Сотни и. сотни миллионов сегодня произносят: «Сталин! Сталин! Сталин!»

Прекрасно бурное море,
когда господствует шквал.
Прекрасен орел на просторе,
на высях стремнин и скал.

Прекрасен натиск упорный.
Прекрасен смелый полет.
Моря граниту покорны.
Орлов обогнал самолет.

Но подвиг мысли нетленной
прочней в веках, чем скала...
Сталину – честь и хвала!
Да будет мир во вселенной...

II

Мазовия

1

Стихи даю вам,
как хлеб – крестьянин,
как шахтер – уголь.

Хлеб вас насытит,
уголь согреет,
а стих мой?..

Слышите,
как новорожденный,
в крови еще стих мой и плачет,
но будет и радоваться.

Прекрасна поэзия.
Прекрасна жизнь.

2

Равнина мазовецкая,
раскинувшаяся широко,
блуждают по тебе мое сердце детское
и мужское око.

С Тумской горы гляжу на Лес Королевский,
временем стерты
его резкие
контурь.

Калужницы мазовецкие —
давно это было – болотца, лужи.
Но мысли мои уж не детские, не молодецкие...

А почему же?

Старею, как плоский дуб,
как он, могучий,
с судьбой и с временем зуб за зуб,
и вы отойдитека лучше!

Если рухну – а рухну здесь я,
на любимую землю, куда же иначе! —
то и тебя здесь схороним, песня,
с последним плачем.

3

Чудесная польская
живая вода,
река моей жизни, —
куда мы плывем?..

И если последняя радость моя —
твоя убегающая струя,
умчи меня,
польский чудесный поток,
прекрасная,
ясная
Висла!

4

На Висле
поют
плотогоны.

Красивая песня на Висле.

В Польской Кемпе есть слива-венгерка,
в Чеслях – лес, а в лесу – малина,
и ходил в нем
мальчик малый —
я, ища сокровищ,
и нашел их,
и вновь потерял их...
О сокровище моего детства,
дайся в руки обратно!

5

Как бы было славно
в Боровичках
пойти патоки отведать.

Там закручивается красавица Висла
к Добжикову,

к Варшаве,
там-то и закручивается Висла.

Как бы было славно
плыть на пароходике до Плоцка иль Варшавы:
маленькие волны,
заросли ракиты,
жар котельный.

Хлеб в буфете
с маслом, с солью
добр, как мать родная.

Тополя без счету,
на песках кукушки,
ивовая заводь,
даль, вода.

После смерти
буду плавать туда.

6

При керосиновой лампе
сидел я с мамой и сестрами;
шел из сада запах сирени,
я читал Андерсена,

мама лампу подкручивала.

При керосиновой лампе
Прус,
Ожешко,
Жеромский творили.

Электрический свет ярче —
я писал при нем стих о Варынском.

Я писал стихи прошлой ночью;
так хотелось, чтоб кто-то
подкрутил мою душу,
как лампу.

7

Польское слово, Висла родная, слово «любовь»
принимает проще всех слов душа...
Вод глубинность, возвышенность слов,
речь и река Мазовша.

Зарождает реченья глубинные дно
той реки раздумия, Вислы,
чтобы иные слова – сердцу знать их дано —
вместе с чайками ввысь унеслись,

чтоб стихи сколдовал в небе солнечный свет
из стремительного полетословья.
А одно крыло у стиха – это смерть,
а другое зовется любовью.

О, родимая польская речь, буревая,
а порой более мягкая, чем соловьи,
оба крыла я в тебя погружаю,
возвращаюсь в недра твои,
и со мной слово «слава» —
слово «Варшава».

8

Есть над Вислою город прекрасней, чем наша смерть
в дни, когда наша жизнь зарождается между
героических подвигов; город, где умереть
так же славно, как жить, – город доброй надежды!

Варшава,
поверженную колонной
ты, гордая, полегла.
Варшава,
Мария моя сокрушенная,
ты не умерла!

От Кракова, от Сандомежа, от всех польских земель

Висла льется
прямо к Варшаве, чтоб видели путники со всех
дорог,

дорожек и троп:
вот она!
Кто на нее замахнется,
тем – пуля в лоб!

Город в лесах новостроек скрывается,
здания и фабрики возводят рабочие,
в социализм поднимается
дом мазовецкий наш, зримый воочию.

9

Прекрасное? Видел я греческие колонны,
видел шедевры, кистью творимые,
и шумные леса зеленые,
и лица живые, любимые.

Прекрасное? Тяжкой солдатской стопую
топтали его напрасно.
Верь: в нас с тобою
и посейчас оно!

В страшных мельницах перемелются все години,

и не опустим глаз мы,
и выбор сделаем чин по чину,
и это – прекрасное!

10

Ты прекрасна, река Висла,
вижу тебя до дна,
ты союзница моим мыслям,
моим снам.

Ты прекрасна, Мазовия,
у тебя взял я крылья для взлета.
Вот острие моих слов: я
не «из грустной страны илотов».

Я книга, которую перелистывать
будущему поколению;
это, Висла,
мощь твоего течения.

А умру я,
так в Висле меня утопите,
как Святовиды,
и позабудете,
как о Святовиде!

Ближайшая родина

Что делать – не знаешь
с лирикой грустной под утро,
домой бы пойти: светает,
но я же дома как будто.

Сны это? В Плоцке опять я,
и ландыши, черт возьми, снова,
а в Радзиве яркие пятна
калужниц желтоголовых.

Можно и в Лонцк поехать,
и отправиться в Брвильно.
Конечно, это не к спеху,
но есть там цветами обильный

лужок, где пахнет ятрышник
над озером, неба полным,
где черемуха дикая пышно
цветет и мудрые волны

ласкают ее, как дочурку,
и просят ответной ласки...
Можно дойти до речушки,
постоять над берегом вязким,

там улитки, пиявки, моллюски,
камышы и лилии водные.
Подойду. На минутку склонюсь я
над светлыми волнами:

вновь увижу я лес сосновый,
луг над озером, Плоцк и Вислу...
Родина, снова и снова
тебе – мои чувства и мысли.

Цветенье вишни

Если б жизнь была цветеньем вишни,
стали бы слова мои излишни,
жил бы я, порхая в синеве,
как стрекозы над водой озерной,
высь была бы заводью просторной,
было бы привольно на траве,
я б глядел па полыханье солнца,
сквозь листву, сквозь ветви тополей,
наплывала б тень, и снова – солнце,
солнечная ширь полей.

Жизнь! Цветенье вишен! Зелень пашен!
Жизнь цветов и польской речи нашей!
Жизнь! Любовь! И все, что ценим в них:
Мазовецкий край. Борьба. И стих...

Рабочий из Радома

Поэзия, не знаю, в чем
твой смысл, зачем нужна ты.
Но плачут люди над стихом,
волнением объяты.

И сами пишут иногда,
найти созвучья силятся,
чтоб не согнула их беда,
чтоб горю песней вылиться.

Я понял это, получив
одно письмо из Радома:
рабочий, сына схоронив,
в стихах почуял надобность.

Он помощи моей просил,
посланье было краткое:
«Мой сын, – писал он, – был красив
и с ласковым характером.

Я с просьбою великою:
увековечьте память
без всякой там религии,
душевыми стихами...»

Моисеев посох – он сродни
волшебным свойствам песни:
споешь – в скале забьет родник
и мертвые воскреснут.

О соловьиной жестокости

Велела писать мне о роще.
Пишу. Да вот мысли гуляют,
по майской несет меня ночи —
так в мае бывает...

В газетах то атом, то Черчилли.
Я радио слушать не буду.
Цветам распахну свое сердце,
ну, хоть на минуту.

Сперва обращусь к сирени,
к фиалке, потом к левкою,
Арахна-луна оденет
меня в шитье золотое.

Восславлю каштанов свечи,
как первосвященник, а дальше
соловушек увековечу:
– Рыдайте!

Не плачут, а ночью синею
в любовной гибнут агонии...
Cantat noctu luscinia²⁹ —
прочел в лексиконе.

Словарь ведь не жизнь! В нем – всё проще...
Дочурка, позволь, помечтаю,
мне чудится, будто мы в роще,
и ты всё такая —

и локон твой светел, как лето,
и снова ты хочешь того же:
прожить до скончания света
и даже чуть дольше...

В сафических строфах нарочно
слегка плутовал, напутал,
хотел, чтоб рассказ свой докончил
Ицек Гуткинд,

пусть скажет, что думал он в гетто,
когда расстрелял все патроны...
А соловьи в это лето
заливались влюбленно...

А в сорок четвертом бесчувственно
свистали они во все горло...

²⁹ Соловей поет ночью (*лат.*).

Певецсоловей, не кощунствуй,
ведь гибнет город!..

Весна, Варшава, дочурка!
В мае приходит радость,
а мне – от призраков жутко...
Сжальтесь!

Я о роще писать стараюсь,
в ней неистовствовало контральто,
когда на траву страданий
пал Вальтер...

«Горные вершины» (у Гете),
«Над водным простором чистым»...
Другого придумай поэта,
май – артист мой.

Возрождённая столица

С востока дорогой атак
армия наступала.
Варшаву разрушил враг,
пылали кварталы.

Дома простояли двести,
а то и пятьсот лет.

В развалинах Краковское Предместье
и Новый Свет.

Слава руинам
заводов, дворцов и мостов.
Немало ещё пройти нам:
трасса «Запад – Восток».

Вперёд, бульдозер, на щебень кровавый!
План – вчера. Свершенье – сегодня.
Новую строим Варшаву.
Будет город из пепла поднят

– Зигмунт-король, как дела, дорогой?
Что видно тебе с пьедестала?
– Мариенштадт шумит предо мной,
я горд, как бывало.

– Зигмунт-король, а что вдали
маячит пред тобою?
– Там Шлёнско-Домбровский мост возвели
прошедшей весной.

– Зигмунт-король, а твой пьедестал
ладно ли сложен? – Неплохо.
Стою себе, как прежде стоял,
мой меч отмеряет эпоху.

Да что там король!.. Сюда шагает,

чтоб всё увидеть воочию,
тот, кто везде города воздвигает, —
Великий Зодчий.

Плечи его – широта небосклона,
шаг сотрясает хребты и дубравы,
над головой – огней миллионы,
меж ними – огни Варшавы.

Сжимает молот его рука,
идёт он по городу, прям и упорен,
шагнет – и позади века,
а впереди – грядущие зори.

Он говорит: «Хватит слёз и пожаров!»
Он командует наступленье.
«Вот рождение новой Варшавы,
Социализма рожденье».

Моя судьба

Что же со мною станет,
когда страницу закрою?
А ничего не станет —
стану я тишиною.

Она-то мне и нужна,

пусть гремит тишина!

Пусть грохочут залпы в Париже!
Товарищи, буду с вами я,
когда уже ничего не напишет
рука моя.

Другу

Друг мой, а ты постиг,
что самый прекрасный стих
не красивей, чем наши
даже не очень красивые жёны?

Это сказал я тебе одному.
Я был потрясен,
и она была потрясенной —
почему?

Это было весной – а может быть, летом? – в Варшаве,
и мы не знали невзгод...
Счастливые дни? —
Им потерял я в Освенциме счет,
вот и давит горе, кровавит.

Ты (мы звали тебя «домашний раввин»)
дал мне сердца кусок.

Спасибо, мой друг. Я разрядил карабин.
И ты. Битва снова нас ждет.
Путь наш прям и широк.

Всё о Варшаве

Алгебраичность слов, математичность чувств?
С такой премудрости я не беру примера.
Усвоить что-нибудь у месяца хочу —
чему не научусь, то не приму на веру.

«И верю от языческого сердца»,
но и язычники не те уж! Стать иной
должна поэзия, иль не изменится
и впредь она останется собой?

Во многом по мечу и по кудели
от Трех Великих я отличен. В самом деле,
я так себе (в стихах), о том и о другом
болтаю и пишу – о том, что есть кругом:

могилы в центре городском,
и дом разрушенный пустой,
и мост разбитый —
всему в мой стих простой
пути открыты!

Соловей

Свищет всю ночь
соловей надо мною,
и каждая трель – внове.
Злодей-соловей,
дай минуту покоя,
дай себя высказать в слове...

Трелью твоею
сердце омыто,
тихо лежу ничком, —
только вот смерть —
мой страж ненасытный —
водит по сердцу смычком.

Умрет соловей.
Остановится сердце
и кровотоки горячий.
Майская ночь.
Соловьиное скерцо.
Счет – навеки оплачен.

О птицах и трамваях

В Варшаве будят рано нас птицы и трамваи;
их звон сквозь сон я слышу, с постели не вставая.
Да и зачем мне вставать?
Птичек с карнизов гонять?
Пойти, что ль, на Волю?
или на Охоту?
Вольному воля,
а мне неохота.
Но если вдруг встану с рассветом, рано-рано,
пойду не на Мокотов, пойду не на Муранов,
пойду на площадь Замка,
туда, где была колонна,
подставлю спину Зигмунту —
пусть будет обновленный.

Под конец мая

Улочкой ходят музы
и Идельфонс Константы.
От лимузинов грузных
бежать бы, как арестанту,

от ангельского довольства,
узоров цветочной гирлянды
венгерского посольства —
бежать бы отсюда, Ванда;

и пусть верещат фонтаны,
всю ночь соловьи рыдают,
уфф! душно! – хочется прямо
бежать из розариярая,

в Казимиж бежать, на Свидер,
на лоно, так скажем, природы,
где воздух, пейзаж нехитрый,
где манят прохладой воды:

без обуви, без алкоголя,
трава, ветерка дуновенье,
в башке непочатое поле
стихотворений.

Букет на подоконнике

– На подоконнике букет?
Честное слово, смысла нет.
– Нет? А желтенькие лютики,
а незабудки у ручья?
Вы, кажется, их не любите,
но это сущность моя.

Думай, думай, мудрец,
может, поймешь наконец:
в Висле вода шумит.

Цветы и вода – как безумие,
в этом цветении, в этом шуме я
плачу навзрыд.

В.Б. – без титула

Титулы – на что они мне,
имя есть – и я не в обиде.
Мне бы только бродить по отраженной в Висле луне
и все видеть.

Я слышу, как трава растет,
и сердце во мне растет,
но что там зеленые травы,
когда видит глаз,
как расцветают что ни день, что ни час
руины Варшавы.

Конечно, не справиться мне бы,
если б возглавить мне БОС довелось,
но могу вознести до неба
и Вроцлав, и Гдыню, и Лодзь.

Если бы я пряжу прят или уголь рубил,
только даром стал бы стараться, —
мне б воссесть на сто лошадиных сил
и в грядущее мчаться.

И никакой мне не надобно дани,
лишь из Вислы луну получить бы хотел, —
республики мечты посланник,
министр ненужных дел.

Умершей

Мария!
Молюсь Тебе – не о насущном хлебе.
Ты где-то там, в моём невероисповедном небе,
а я тут хожу – по этой жизни, по этой жизни,
влюблённый в свою жену,
тайно плачу, в разброде мысли,
и ей —
нет! не только ей (нуну...) —
пишу письма,
как писал Циприан Камиль: «...не правлю
дневник артиста —
невнятные, безумные, корявые,
зато правдивы мои записки».

«Освенцимские рассказы»

Я книгу прочитал твою, Мария,

зашедшись в плаче.

Так, умирая, пишут нам живые,
так, не иначе.

Хотя в Освенциме я не был,
знакома наизусть округа.
Мария!.. Как под этим небом
звалась ты? – Вьюга...

По снегу босиком сквозь стужу
шла на расправу.
Без курева. А слева дюжий
эсэсовец, предатель – справа.

Совсем одна. Укрыться нечем.
Ах, бедная, ты из провала
в кошмаре том нечеловечьем
ко мне взывала.

Освенцим

Хочу вдыхать я варшавский воздух,
в этом воздухе моя жена,
с дымом она улетела к звёздам.
Воздух – это она.
Есть такое местечко – Освенцим.

Там горел огонь крематория,
души мучеников святых и младенцев
сегодня оттуда летят над историей.

Что могу я?! Вздохну уныло
и побреду, пригорюнясь.
За мною урны, за мною могилы,
за мною далекая юность.

Альпийские фиалки

Я купил фиалки альпийские
Марии.
«Что нам до фиалок альпийских?» —
говорят неживые.

«Я хочу, чтоб счастливо на свете
жил ты дальше».
А фиалки такие же эти,
как и раньше!

Распускают фиалки бутоны,
как два года тому
назад, бурно
расцветают...
Февральское небо – почему? —
снова лазурно.

Обручальное кольцо

Носил я кольцо и снял кольцо.
У Марыси было такое же точно кольцо.
Оба в Швейцарии куплены – плохо было тогда.
Озеро Цюрихское и в тумане вода...
Профессору Рору нечего было сказать.

А мне... мне полагалось бы знать,
что дней худых настаёт черед,
что будет жизнь, как в тумане вода,
что будут стихи о беде
и... беда.

Цветы

Было в Аллеях полно аромата.
Каштаны цвели.
Я был влюблен когда-то.
Ветры с каштанов цветы смели.
Так много прекрасного было, казалось,
и ничего
не осталось.
Отчего?

Но на сердце букетик фиалок цветет,
свежий и ароматный.
Второй уже год.
Непонятно.

Бездомная Варшава

Под Тувима писать? —
неохота,
под Галчинского? —
сложно.
Напишу под Броневского что-то,
но его застать невозможно,
у него ведь и дома нету,
вот и бродит по белу свету,
где руины – груды на груды.
В этом разоре великом
вспору рухнуть над Вислой с криком:
«На помощь! Люди!»

Но созвездья затеплятся в небе,
о тебе вознесёт он молебен,
осенит его крестное знаменьё
обеих Медведиц в зените.
Звёзды скажут:
«Здесь она, с нами».

Где?
Покажите.

Полёт

Над Цюрихом мы в ясный день взлетели,
снегами склон горы заволокло.
Вот повернулось озеро и ели...
Потом туман, и в нём блестит крыло.

Как год назад, почти одно и то же.
Как и тогда, почти без багажа.
Ее лицо, моё... они похожи,
их сумрак застилал, дрожа.

На этот раз лечу я с Майкой – Альпы,
Германия остались в стороне.
«Уж если гром, в меня пусть бьет проклятый!..»
Таможенники подошли ко мне.

Ну что ж, я ничего не скрою,
внимательнее будьте в этот миг:
горсть праха в Прагу я привёз с собою.
О, как мой груз велик!

Майское ночное стихотворение на именины Иоанны

Подумай, рассветает,
а мне заснуть едва ли...
В Варшаве ночи мая
светлы над «Прюденталем».

Над крышею помешкав,
в Аллее Роз и Песен
луна – орел иль решка? —
упала с поднебесья.

Весь в соловьиных перлах
сирени куст лиловый,
и милиционеры
стихи писать готовы.

Каштан в свечах, как елку,
всем подарю, кто хочет.
Тебе ж, дочурка, только
скажу: «Спокойной ночи!»

Всю ночь болтать бы рад я,
поэта нрав известен...
Ну, спи! Отцовский адрес —
Аллея Роз и Песен.

О земном шаре

Если б шар земной
крепко обнять,
как дочь...
Если б к сердцу прижать вот так,
как дочь...

Но нет —
я насмешник пустой, чудака.
Мне б по лунам бродяжить в ночь...

Да и луны мне ни к чему,
я и сам себе ни к чему.
Повторяю строка за строкой:
«Моя дочка, мой шар земной,
покажись мне хотя бы звездой!..»

Обида

Мысль работает, талант в кипенье,
как никогда.
А что в результате? Обида!
Вот беда!

Анка не пришла,
Майка ушла:
носит их где-то,
делá – дела.
Времени нету?
Пустые слова!

Я быстро иду – не смотрю назад.
Жизнь моя – словно осенний сад:
падают листья с вербы, с берёз.
Обидно до слёз.

Анка в Париже

На улице Вожирар и слякоть и мгла,
наверно.
Все кажется мне: ты по ней прошла
в тумане сером.

Глаза твои видят Бульмиш, Монпарнас,
их тротуары.
Прошу тебя, вспомни хотя бы раз
об отце своем любящем, старом.

Здесь тень моя четверть века назад
мелькала тоже,

не увидишь ее, когда звезды горят,
и днем не сможешь.

И в зеркале Сены мелькнет пред тобой
город над Волгой, город над Вислой.
Отец твой – такой же ребенок большой,
совсем он не изменился.

Об отцветании

Отцветает все, отцветает
и – словно тает.
Вырастает все, перерастает
и – пропадает.

А я и вырос, и перерос,
и все, что нес с собою, – донёс,
не слёзы, что камней тяжелей,
нет! – совесть свою вместе с жизнью своей.

Солнце

Солнце меня жгло в Узбекистане,
в Персии и Палестине, —
и первая мысль: пусть его не станет,

вторая: пусть не остынет.

Что б делал я без солнца?..
(Так, пожалуй, сказали бы дети.)
Солнце, солнце, солнце —
пусть оно всходит и светит!

Пусть светит солнце над светом,
над юдолью земною,
пусть светит зимою и летом
над всем светом
и надо мною.

Матери

О мать моя, что я могу сказать,
открыть какие мысли?
Нахлынула стихий нещадных рать,
как вихрь на Висле.

Сомненье? Горечь? Смерть жены?
Нет, я сильнее дуба.
За то, что драться мы должны,
поверь, я драться буду.

А если причинил я зло,
на сына не досадуй,

иначе, мать, быть не могло;
прощенья,
даже твоего,
просить мне, верь, не надо.

Юность в Варшаве

Жил в самом центре города,
в двух шагах от Колонны,
стихи сочинял, был гордый,
беспечный и самовлюбленный.
С чего б эта гордость,
высокая дума?
Бог весть.
В лесу, среди самого польского шума,
быть может, мой листвень есть?
Ну что ж, пошумим, старик, пошумим,
пока мы на этом свете.
Каким же сердцем, словом каким
на этот вопрос ответить?

Каменные бабы

Были женщины,
а теперь, к сожалению,

я старею —
обычное явление.

Бабы каменные, в Неборове виденные,
скифские,
каждой – тысячи лет.
Без лиц эти бабы —
суровые,
грозные,
грубо выделанные,
каждой – по несколько тысяч лет.

Мне семнадцать лет,
а не пятьдесят.
Бабы, бабы,
подтвердите,
что неправильно говорят,
будто мне – пятьдесят.

О шуме

Если б стихов я писать не умел,
может быть, лес еще краше шумел,
может быть, этот горный ручей
вдруг озарил меня блеском речей,
тайны раскрыл бы сердечные,
светлые, мрачные, вечные.

Но мне не слышен голос ничей —
сам я журчу, как ручей.

Кусочек Леванта

Хвойный кедровый шорох
в этом огромном небе
(в Бальбеке? Иерусалиме?).
Эх, позабыть этот мóрок
Мне бы...

А ещё бы – забыть эти звезды
(мало ли их бывало?)
и эту любовь забыть,
забыть, чтоб её не бывало!

Потому что я часто уезжаю

Каждый раз, когда я возвращаюсь в Варшаву,
плачу опять и опять.
Гляну на город – след увижу кровавый,
гляну в себя – тоски не унять.

Гляну кругом, погляжу, поброжу,
съезжу в Лазенки и на кладбище,

там поброжу, помолчу, погляжу,
станет казаться иным пепелище.

Каждый раз, когда я возвращаюсь в Варшаву,
счастьем душа полна:
след был кровавый – не будет кровавый,
будет лишь радость и только весна,

Колонна

Король Зигмунт Третий был скверный король,
но я не расстанусь с Колонной...
(Пиит запинается: король, рифма – боль,
другая, конечно – стозвонной, хваленой...)

В тебе мне звенела история Польши
(с минусом тройка),
не знаю, садились ли там журавли,
летевшие в Польшу,
но только
я должен сказать,
что люблю эту пядь
истерзанной нашей земли.
Рыданьем и вздохом я должен сказать,
что люблю эту пядь
истерзанной нашей земли.

Бодлер

Хотелось, чтоб ты шла
под зонтиком красивым
по улице осенней,
где множество деревьев,
нагих,
но – столь прекрасных!
По улице такой же
ходил Бодлер
и думал,
удастся ли до завтра
сложить стихи
для матери,
а также для любимой...

А также – и для хлеба.

Ласточка

Вдруг на меня любви нахлынула волна,
как паводок, что льды уносит.
Да, ты не молода, но – как весна,
но только кто тебя об этом просит?

Быть может, я склонялся пред тобою
униженно, с надеждою, с мольбою,
в отчаянье, быть может, целовал
и ласточкою называл?

Иль, может, ласточки, что в небесах летали,
тебя, тебя напоминали,
летали, щебетали, улетали,
чтоб дни мои смелей и радостнее стали?

О писании стихов

Если я не люблю, не страдаю —
стихов не бывает.

Родные мои, моя родная,
она-то знает —

труднее, чем в муках ребенка рожать, —
отказаться от всего мира
и сердце рукою сжать,
чтобы капелька горького яда
сразу вытекла из него.

Спи, родная. Ничего мне не надо,
не хочу для себя ничего.

Бессонница

Сам не сплю, тебе не даю, курю папиросы;
на столе: будильник и хлеб меж двух хризантем,
за окном ноябрьская буря завывает разноголосом,
а я онемел совсем
и, словно бревно, мохом поросшее,
косо смотрю на мир.
Спи, моя нежная, хорошая,
я не сплю.
Папиросы мешают? На, держи!
Или руки на голову мне положи.
Убаюкай, вели мне спать.
Научи, как стихи писать.

Гвоздика

Я купил для Ванды гвоздику
в декабрьское ненастье.
Погуляет она (холод – дикий!),
вернется домой – здарсьте!
Без гвоздики зябко ей будет зимой —
помним, помним.

Но она вернется домой,

но она вернется домой,
как двенадцатый час
в полдень.

Об иволгах

Вполне права – как всегда – жена:
«Оставь стихи. Поспи до утра!»
А майскую, не признающую сна,
ночь колышут большие ветра.

Опять мне запала в сердце строка,
как тыщи похожих строк – до нее.
Ах! Сердце не охолонёт, пока
другое не изберу житье.

Так пусть околдуют меня в лесах
иволги, соловьи, жасмины.
Роса на цветах, роса на глазах.
Рассвет – и слёзы хлынут.

Птицы и мята

Как на могилу пришла ко мне.
Зачем, почему – так?

Ведь птицы летают в голубизне,
ведь мята растёт на прудах.

Ты думаешь: смолк, затих,
смерть за горло взяла навсегда.
А я – не согласен: вот он стих!
Словно звезда.

В нём – птицы летят и мята растёт,
а смерти – нету в нём...
Послушай, запомни, и пусть он – живёт
в сердце твоём.

Лампочка

Лампочку в голове у меня
розового – что ли – огня
засвети, а потом
всё обсудим вдвоем.
Будет вечер и абажур,
я с тобой посижу.
Будет кот, а может быть, пёс,
только не будет —
правда, не будет? – слёз.
Будет из Диккенса что-нибудь,
из Андерсена что-нибудь,
ресницы глаза закроют.

Ты будешь сонная, томная,
и розовую горящую
лампочку
я погашу
и слово – то, настоящее,
только тогда скажу.

Стихотворение

Нет, такого не может быть,
чтобы сразу я стих написал,
он во мне должен прежде пожить,
чтобы выносил я, воспитал.

Чтоб моей он потрясся судьбой,
чтобы вихри ревели над ним,
чтоб пустынь изнуряющий зной
над стихом колыбался моим.

Надо мною все это встает,
как Медуза.
Открою глаза, и вот —
Муза.

Забже

Руби, шахтер, пласт угля упорней,
руби скорей и сильней:
встает в твоей шахте, встает в твоей штольне
фундамент Отчизны твоей!

Под твоим молотком пала власть капитала.
пробил свободы час.
Больше железа, угля и стали
для трудящихся масс!

Уголь согреет, накормит голодных,
уголь – наш Общий Дом,
уголь – могущество войск народных,
с ним к светлым дням придем!

Не для паразитов, для собственной пользы
течет сегодня твой пот:
ждет и смотрит рабочая Польша,
ждет молот, и трактор ждет!

Шахтер, скорее, шахтер, смелее
в грядущее наше иди,
работай, сил своих не жалея,
будь всегда впереди!

Твоя навеки земля эта, знай же!
Твой уголь, за уголь борись!
Забже идет впереди, Забже
ведет нас в социализм!

Внуку

Когда ты подрастешь, в Словацкого заглянешь
и наконец до драм его дойдешь ты,
то, все еще дитя, ты удивляться станешь:
мол, почему нас не смущает то, что

вот, например, Шекспир о бедствиях рассказы
почти бесстрастно вел? Так почему же Лилле
змей надо убеждать? И для чего здесь фразы,
коль у трагедий вид почти идиллий?

Послушай, внук: Марии Зарембинской
и без неподпоясанной рубашки
пришлось изведать ад неволи освенцимской —
все: травлю псами, труд, бесплодный, тяжкий...

на муки рабства обрели Марию,
ах, но свободной быть она не перестала;
и сбрили волосы ей рыже-золотые,
но яростность войны в глазах ее блистала...

Внук, волосы ее остались в Освенциме,
в копне людских волос, туристам всем на диво.
Мария! Не забудешь это имя?
И коль звучат в ушах Словацкого мотивы,

то знай: в звучащий гроб вошла она, как Лилла,
и будто бы струну колышет каждый волос
ей вихрь истории, и будит не могилы,
а сокрушенных арф он пробуждает голос,

Знай, внук, что кровь твоя зовется освенцимской,
и это уважай, коль умирать придется.
Со славным именем Марии Зарембинской
иди, подняв кулак, с неправдою бороться!

Памяти К. И. Галчинского

Поэт антично-цыганский,
волшебной бричкой носимый,
конец всем твоим романсам
любимым.

Какая теперь Ниоба
в тоске тебя поминает?
Скрипка плачет у гроба,
и мы рыдаем.

Может, со Ствошем вместе
над башней Марьяцкой,
резьбу сплетаешь ты с песней
в узор залихватский?

Жаль мне, Константы, жаль мне,
шуток твоих и песен,
жизнь уже не распалмить,
и сон стал пресен,

но как-то декабрьской вьюгой,
хоть годы минут,
грянет Бахова fuga —
и слёзы хлынут.

И скрипка, что Юзе в дар ты
дал, на радость мальчонке,
примчит метеором ярким,
зальётся звонко.

Анка



Ясневый гроб

И здесь кружит, как на Повонзках,
пушистый снег в январский вечер...
Там, в тесных ясневых досках,
последний сон твой глух и вечен.

Не призрак ты, а память, грозно
влекущая меня в былое,
нет, не в элизиума розы,
я в горе верую живое.

На всех хватило б слёз, без счёта
пролитых мной в ночные бденья...
И нет тебя, и вот ты, вот ты...
Постой, помедли хоть мгновенье!

Припомним звезды детства... Помнишь!
«Мир кружится...» – ты говорила,
и как бродили мы по Польше,
и памяти как сладко было.

Дорога Краков – Гданьск по Висле
вилась в цветении апреля...
Тогда мы вместе пряли мысли,
теперь мои осиротели.

Осенний Ойцув был... Сверкая,
желтели в Кельцах листьев груды.
Ах, если б знала ты, родная,
как тяжело отцу, как трудно!

Но я не сдамся! Твердо, стойко,
из дали в даль пойду я снова,
и тем, кто свет зажег на стройках,
свой долг верну я светом слова.

Берёза

Что мне делать с тоскою,
о береза!
И во сне нет покоя,
словно самая полночь
мучит сердце – ты помнишь? —
о береза!

Дочь... умершая дочь моя,
о береза!

Песня нитями прочными
задушить меня хочет,
отравить меня прочит,
о береза!

Что сказать мне, живому, можно,

о береза!

Коль слова так бедны, так ничтожны,
горе горькое пусть простонет,
что слова ничего не стоят,
о береза!

Шторка на окне

Отворил окно спозаранку,
а шторка навстречу качнулась,
словно Анка
в гробу очнулась.

Зашелестели смутно
белая шторка, синяя занавеска...
О, приди оттуда, хоть на минуту!
Ты здесь уже? Как чудесно!..

Как хорошо... как страшно, родная...
Как нежность сердце стеснила...
Мне уже не заснуть, я знаю...
Шторка?.. Может, ты навестила?

В упоении и тревоге

Умерла моя девочка... дочь моя...
Как прикажешь сердцу: молчи.
Если горем разъедено в клочья
сердце – вырви и растопчи.

Дочь моя... Ну какой любимой
так дарил я себя, как ей,
незаменимой,
незабвенной Анке моей?

Мне она, как мир, представала
в упоении, в тревоге рассвета,
в стужу сердце горячее отдавал я
за это.

Плач

«В Вислу Анку, в Вислу надо!..» —
«Папа, опомнись. Дочь-то?!» —
«Без рассуждения, без пощады,
за то, что

любить велишь все сильнее,
так что сердцу – ну хоть разбейся,
за то, что вот-вот опять засияет
букетик фиалок в Бейсцах,

а там каштаны, каштаны
— прочь, Тадзик, не надо —
за то, что у папы туманна
от любви голова, чтото в ней неладно,

что мысли так велики мои,
а действия...

что в Вислицкую базилику
шли по лестнице вместе,

что вдали собор
Казимежа, в два нефа,
что тревожит с тех пор
душу древности эхо,

что уже вплетена ты в давнее,
как орнамент,
что на устах рыдание
замирает,

что тяжело мне, ах как тяжело
ворочать мысли,
поэму придумывать нашу
о Висле». —

«Утопи меня, папа, я и так не живая...» —

«А слезы?» —

«Пусть ничьи они будут, пусть расцветает
сирень и шумят березы...»

Фильм о Висле

До устья Вислы от истоков,
до устья жизни от начала
я нес тебя на крыльях-строках,
на чутких крыльях песни мчал я.

Так мы рекой овладевали,
прекрасны были те владенья,
как свет живой из дальней дали,
как образ вечный, чуждый тленья.

От вавельских до гданьских башен,
от Новой Гуты до бывшего, —
до городища предков наших,
во всё любовью снова, снова

вторгались мы, чтоб словом-оком
объять истории просторы,
чтоб, в мире осмотрашь широком,
«Светает!» – возглашать упорно.

Не лги, о память! Меркнет образ,
уже экран в тумане Вислы,
и этот плот, и крышка гроба,
и солнце красное повисло,

мост сокрушенный, льдины, скрежет,
дым над трубою заводскою,
последний вечер в Казимеже...
Как совладать с тоской такую?

Ах, что я делаю? Я тени
ловлю в погоне за тобою,
А разум требует: забвеньё,
а сердце держится любовью.

Анка

Аня, вслух говорю, но тихонько – так лучше, так проще,
чтобы самая чуткая мысль моя не ускользнула.
Вот без малого год, как, ослепший, иду на ощупь
за тобой, которая от меня ускользнула.

Вслух говорю, но тихонько, тихонько,
чтобы Эве не было слышно.
Окошко закрыто, хоть неподалёку,
я ручаюсь – там ничего не слышно.

Из Юраты, отсюда – помнишь ты это? —
мы пробирались рекою Вислой,
к белому ль свету, к тому ли свету,
но ничего из того не вышло.

Анюля! С тех пор как пусто и немо
без тебя – смелее еще, грознее
я опять принялся за поэму,
которой быть «Свадьбой» моею.

На нашей земле не бывать Хиросиме,
станут вместе плясать тополя да ивы,
плоцкой стужи мы не боимся зимней,
плоцкой осени мгла поплывет лениво.

Ничего не сказал я тебе о Висле,
того, что сердце хотело.
Но поверь – все сейчас от тебя зависит,
все стихи мои, каждая мысль и дело.

Ты будешь их сутью, душою тайной,
во всех испытаньях мы будем вместе,
будут петь соловьи и в любых испытаньях
тебе свои соловьиные песни.

Ты первейшая самая, пусть неживая,
далекая – только куда тебе деться?
Из тысяч единственная, родная...
Ждет отец твой...

Обещание

Доченька, далекая дочка,
пусто, пусто вокруг, уныло,
сердце мое кровоточит,
сердце ждет... ничего не забыло.

Ведь не совсем умерла ты:
мы же вместе трудиться будем.
Все исполню, что обещал когда-то:
понесу стихи свои людям,

стихи одарят их любовью, силою,
заставят верить и улыбаться,
хоть нелегко мне, доченька милая,
идти и под тяжестью строк сгибаться...

Страшной птицей ночь надо мной кружится,
сердце терзает в клочья.
Оторву, оторву я крылья у птицы,
вырвусь, вырвусь из мрака прочь я.

Моё сердце

Мое сердце – сердце из плоти —

изучили врачи отлично.

«До ста лет, бог даст, проживете», —
обещают они привычно.

Мое сердце, скорбью больное,
одному лишь подвластно чувству:
мне одной не хватает, одной лишь,
без которой в комнате пусто.

Где любимые, где? Не слышу я
зова их... только тишь полночная.
А быть может, слеза, повисшая
на ресницах, – умершая дочь моя?

То к паденью, то к взлету стремится
сердце-маятник... влево... вправо...
И твердят мне люди-тупицы:
слава.

Для других пусть трелями дробными
славит жизнь соловей на ветке,
я бы умер, только бы дрогнули
Анкины веки.

В стороне

Мама, я никогда не верил в приметы:

в черных кошек, в день понедельник,
в число тринадцать,
но порою охватит такой пустотой беспросветной,
с какой не пришлось еще зняться.

Мама мышей ненавидела. Вида паучьего
Анка, я помню, не переносила,
а я тишины выносить не умею... измученный,
брожу среди белого дня, без силы.

Иногда мне бывает еще чуть-чуть тяжелее,
чем вытерпеть сердце людское может,
тогда я думаю: неужели
эту горечь придется испытать мне тоже?

Трудно мне на могилу Анки собраться,
можно в такси, но вот ведь несчастье:
на пути понедельники, числа тринадцать,
кошки траурной масти...

Нет, я ведь материалист, не верю приметам,
они для меня ничего не значат.
Но только усядусь в сторонке где-то —
плачут слова мои, плачут.

Ясность

Разбудил хорошего поэта,
был чуть-чуть под хмельком я;
пошла про меня слава эта:
звоню по ночам к знакомым.

Разбудил с намерением добрым
и стихи положил около,
сказал ему: «Друг, будь добрым,
вглядишь в это облако.

Видишь? Это моя дочка,
видишь, летает,
видишь, перышки такие же точно...»
И туман в голове стоит и не тает...

А я хочу вырваться из тумана,
в ясность вернуться,
вернуться к ясности, в долгожданный
сон окунуться.

О большой любви

Ануля, дочка, прямо в лицо
ударил ты меня...
Но всегда права ты в конце концов,
сумасбродка, дочка моя!

Целый год стихов не могу писать я,
оттого что ушла ты, отцу на горе...
Долго ль призраки можно качать в объятьях,
по уши в разном вздоре?

Нет, не вздор это, Аня, не пустяки,
я – поэт и буду поэтом,
о великой любви написать бы стихи —
не об этом!

Ещё о фильме

Мы (не столько я, сколько Аня)
делали фильм в Казимеже.
Король Казимеж поладил с нами,
угощались из жбана мы пивом свежим.

Король? – ну, ясно, умер давно он,
и дело не в этом,
но отчего встало сердце комом
в горле поэта?

Чтобы вникнуть в дела королевские давние,
требовалось много труда и внимания.
«Вопрос жизни», – говорили, бывало,
и вдруг Анки не стало...

Ради дочки моей за того короля
я одежду холщовую, может, надел бы.
Шел бы за Анкиным гробом я,
не во мне было бы дело,

и, может быть, думал: «Король, король,
как случиться могло, что так меня смяло,
что кто-то нанес мне такую боль
и что этой жизни так мало, так мало?..»

Я жил

Жалею о каждой минуте, не погеройски протекшей,
прошедшей напрасно,
минуте, с которой светлей бы и крепче
не сделалось братство.

Я в себя смотрю – вдруг да пусто? —
до слёз пугаясь молчанья,
в шелковистый платочек стихов искусно
собираю свое отчаянье.

Нет, туда не пойду я, куда относит,
не уступлю ни дня!
Смерть многих скосила и многих скосит,
но не меня.

Если бы смог, сказал бы Анке любимой,
оглянувшись на все, что в жизни свершил,
моей возлюбленной, неповторимой:
«Я жил».

Моя дочь

Снова ночь проплакана длинная,
мысли мечутся, словно листья,
всё за нею – моя любимая! —
всё за нею гонятся мысли.

Каково тебе отдыхается
в жесткой ясеновой одежде?
А она лежит, улыбается,
не такая совсем, как прежде.

Как мне из горя вырваться,
из глубины ледящей,
чтоб с тобой хоть на миг увидиться,
с настоящей?

Фирлеювной спящей в Бейсцах,
ты мне видишься в саркофаге...
А себе не найду я места,
а писать не найду отваги.



Анка, три с половиной года минуло,
это страшно, огромно,
а ведь нет ни дня, ни минуты,
чтоб я свое горе не вспомнил:

ты ушла, и остался я здесь сиротою —
что мне твердость моя напускная? —
я ишу тебя в небе, но небо пустое,
и я небо тогда проклинаяю.

Никакая, увы, философия
не сотрет, не изменит факта.
Мать ушла, и сестра ушла Софья,
а ведь я примирился как-то.

Но совсем по-иному с тобою,
наяву и во сне вспоминаю...
Может, в чем-нибудь я виноват пред тобою —
почем я знаю.

На Повонзках могила заснеженная,
и вижу березы над ней наяву я...
Скажи, ты ведь вправду была, моя нежная,
ведь я существую...

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Анютины глазки с могилы Анки
в склянке прозрачной.
Все утра мои теперь, как подранки,
все полдни мрачны.

«Пани доктор, так мне немножко
полегче будет».
Но она велела закрыть окошко:
нельзя, застудит.

А там, в узкой ясеновой темнице,
в гробу, тепло ли?
Я болен. Хочу умереть в больнице.
Не помнить боли.

К черту термометр, лекарства спрячу.
Они не лечат.
Но Анютины глазки вижу и плачу —
от них мне легче.

Анка, я... еще поживу, покуда
легендой, светом
твои цветы оплетать здесь буду...
Я – только в этом!

Новые стихи



Висла

[Фрагменты]

[1]

В белых знамёнах – вишни,
зеленые – вскинул тополь,
а в небе видением Вислы
разлив голубого потопа.

Проехали Сандомежи,
апрель мчит по воздуху мысли.
Лети нашей радости вешней
веселый посвист по Висле!

Висла! Неси по руинам
заботы к вечным маям!
Об этом расцветом невинным
берёз тебя заклинаем.

Гляди же! Это Варшава
с мостами, центром, Жеранью.
Варшава, кровавая слава,
глотай нас, живьем пожирая.

Весна горячей работы,
Висла Первого мая,
тружусь с надеждой, с охотой,
всего себя отдавая.

[2]

В Гочалковицах – Висламалютка,
как Свидер:
ладони в воду – запрудкой,
и всю ее тут увидел.

Белая Виселка, Черная Виселка
с горы Бараньей.
Апрель. А небо? Хрустальной выделки,
свежести ранней.

Катится Виселка, светлая, резвая.
Что ее ожидает?
Здесь создадут водоем для Силезии,
в Силезии воды не хватает!

Возведена здесь плотина бетонная.
Море в селе будет этом.
В Польше такая радость огромная —
быть сегодня поэтом!

[3]

Если б я Реем был из Нагловиц,
сеял бы я пшеницу,
сеял слова бы – но как их измолвишь,
как повернешь на страницу?

С самым глухим польским местечком
что нас объединяет?
Словно под камнем хранимая вечно,
польская речь родная.

Польши дороги мы перестроим,
но сохраним преданий оплот,
двинемся дальше ширью такою,
шире, чем арка Опатовских ворот.

И будут пшеничные эти поля
вспаханы тракторами.
Об урожае небес не моля,
гимны придумаем сами.

[4]

Качается маятник солнца

над Енджеёвом
для меня, для тебя, для потомства
днем новым.

Не на мой вкус и рост
все, что создано в Нагловицах, —
пан, ксендз и пробст
повинны в этих страницах.

У источников польской речи
в их взглядишь начало;
песнь – немого сестра – издалече
без руля по Висле примчала,

приплыла ладьею, карбасом...
(Слова эти нынче немы —
лишь поэт вдохновенным часом
впишет в поэмы.)

Рудам Келецким и Свентокшиским,
что лежат веками,
неужели ж не отразиться
моими стихами?

Я из гроба вскинул бы руку,
из-под глины толщи,
чтоб доделать, доверить звуку
все, что ныне свершается в Польше!

[6]

У меня родятся внучата,
виски седеют все более,
а сила моя непочата,
во мне творится история.

Я еще о смерти не думаю,
но в жизни успею сказать ли,
что ландыш так же разумен,
как поэт и писатель.

Кто любит землю родимую,
как покойную мать любимую,
чей последний час был бы светел,
если б взор ее ясный отметил,

отразил бы последним светом
то, что сердцу важнее хлеба,
что ласкает душу приветом,
голубое польское небо.

[7]

Ты не спрашивай, дочка, где папа,

когда папы не будет.
Наша Польша словами богата,
а в словах жить я буду повсюду.

Проплыви от истоков до устья
Вислы великой,
не одно – то с весельем, то с грустью —
тебя окликнет.

А когда доплывешь до слиянья
Вислы с морем,
скажешь: «Здесь истории грани,
их достиг и отец... быть может!»

Я не Сментек, я не Жеромский,
не Фантазий и не Мечтатель.
Я лишь камень свободы польской,
что в траншеи небо метало.

И я в Польше шагами мерными
иду с народом моим,
с каменщиками, с инженерами —
передовым!

Почему же передовым? Потому что, кто первым
громом
был свободу прославить призван,
кто в борьбе звал звуком громовым,
тот народом и будет признан.

[8]

Тополя... Если бы шум один листьев
услыхал от них я,
ничего бы из стихов не вышло,
вместе с ветром бы стих я.

Одинокий я шел бы, лишний,
к истощению мысли,
к омелению Вислы.

Тополя мне такие в Варшаве
шелестели,
под которыми гибли отцы наши в славе
в Цитадели.

И шумят тополя, как когда-то
над ними,
знаменуя их муки и горечь утраты
памятниками живыми.

Птичьи стаи над ними летают
вверху беззаботно...
Так должно было стать —
ведь пришла свобода.

[9]

Небо заплыло тучами
с севера моря плотно,
над Немецким Островом скупились
близко: у Плоцка
дождь, сгибая ракиты,
лавиной хлынул,
гром собрался сердито
обрушиться на равнину,
на поля ячменя, пшеницы,
как вдруг из разверстой дали
изволил он появиться —
меч из солнечной стали, —
пронзил мохнатые пасти
уже не тучищ, а облаков,
заливши светом и счастьем
окрестности далеко.
И стало от Плоцка до Добжиня ясно —
волнение Вислы и шумная речь.
Это прекрасно:
победил огнepýрый солнечный меч!

[10]

А во мне если сердце забьется,
то и песня в разлив разольется.
За каждое польское слово
дам правую руку отсечь!
Как мне бежать от тебя, польский говор,
польская речь?

Через Неслуховские дебри?
По болотам, где тонет луна,
через Вислы кипучие гребни,
через прадедовские времена?

Через то, чего больше не будет,
через то, что уж стало известно?
Не уйду. Слишком событиям
тесно!

[11]

Лирика... Только что я поостыл
от привисленского экстаза,
а ко мне, словно нищий склоняясь на костыль, —
кусочек истории сразу.

Это было ниже Торуня,
города крестоносцев,
летом, в преддверье июня,

когда птах и ромашек россыпь...

На юге были Влоцлавек и Плоцк,
оправленные водяной эмалью.
Был вечер. И мы бы всю ночь
так простояли.

Огромные листья пальмовые
заката из-за облаков.
Мазовецкое это, маевое,
раскинувшееся широко.

Шар солнечный вниз катился,
вечер спускался,
крестоносец в седло садился,
народ разбежался.

Подходил крестоносец к Влоцлавку, к Добжиню
хищно, цепко,
возводил своего замка твердыню
прочно, крепко.

Мы своей мазовецкой сохой,
с мазовецким своим добродушьем
ограждали свои семейства
от рыцарского оружия.

А когда до войны доходило,
восставали мы вихрем метели.

Грюнвальд! Страшна наша сила!
С их шлемов перья летели!

Как же выявить это сегодня
социалистическому поэту?
С нашими днями не сходно
это.

Это было черное время
тевтонское...
Сброшено с плеч их бремя,
здесь земля – вся польская.

Польских колесников знаменитых
чую надежды и мысли...
Измененный истории свиток
ветер колышет над Вислой.

Это было здесь, у Торуня,
у этого вот холмочка...
Каким же громам-перунам
нас сразить после этого,
дочка!

[12]

Славянам горло сжимая

и пруссам терзая тело,
шла рыцарей туча стальная,
и все после них мертвело.

Шлемы, гербы, турниры,
Мы – врагов, они – нас рубили...
А земля-то жаждала мира,
и над нею – солнце да были.

Мой город, как детство наше,
живет, трудится, мыслит,
и реки, под гнетом стонавшие, —
Вкра, Скрва, Висла.

Об этой земле мне трудно пишется —
так она мне любя,
стук ее сердца в сердце мне слышится,
как шелест листьев ольхи – дубу.
Дубы – рябинам,
рябины – букам,
а буки – волнам Вислы любимым
расскажут, что я говорю внукам.

Обучал меня польской речи
народный ум,
обучал меня польской речи
дуба польского шум.

[13]

Если б я воспевал стихами
только древние камни Кракова,
то я сам, с каждым днем затихая,
стал бы каменней камня всякого.

Но я ствол живой, а не камень,
не бревно и не развалина.
Дай душе, поэзия, пламень,
чтоб душа не была раздавлена,

не затеряна среди камней,
среди всего, что дорого глазу,
среди давних печальных дней...
Оглуши меня, муза, сразу!

Лесные пичуги, птахи,
луч рассвета,
крылышек взмахи —
всё должен воспеть я это.

Босым пробежать по лугу,
в озеро прыгнуть с разгона,
как иволга, на всю округу
кричать радостно и упоенно,
что это так, не иначе,

что жизнь нам это велит,
что мы не отдадим нашей
земли.

[15]

Когда иволга крикнет звонко:
«София, и-ди-на-пив-во-пойду-и-я!»,
когда свист дроздов по лесам разнесется,
а коса по лугам пройдет,
зашумит вся надвислянская сторонка,
расшумлюсь и я.

А жаворонок на заре
цвирь-цвирь – и вверх прынет,
где облачка в серебре,
глянешь вниз – древний камень встанет,
камень города моего детства:
собора и замка крыши,
здесь мне всё до пылинки известно,
но всё в памяти глуше и тише.

Но сирени над Вислой
опять бушевать,
и без слез невозможно
существовать.

[17]

Может быть, ты уже близка,
а может, и нет?
И не скоро захлопнется гроба доска,
будут ночи и дней рассвет.

Нет, я жизни своей не пропью, не залью.
Знай.
Не впусу в свое сердце тоски змею!
Дай,

дай ручки твои вместо меня всему миру с доверьем,
чтобы он тебя обнял...

И тогда ты воскликнешь вдруг с изумленьем:
«Отец, ты ведь этого и желал!»

[18]

Открой окно. Дождь снова,
а глотка моя суха,
мне не хватает слова
для стиха
о последнем дне мая
дождливом,

у цветов уже сил не хватает
в блаженстве счастливом

под светом той луны,
что и нам сияла,
а вот уж минуты те сочтены,
и их не стало, —
когда нашим глазам приходилось встречаться,
как бы в очи глядя судьбе...
Но стой! Не хочу в стороне я остаться,
размышляя лишь о себе.

[19]

Я на Висле родился,
все любимо здесь мной,
с каждой птицей сроднился,
с тишиною лесной.

Ясен день или буря —
я их отсвет ловлю.
Ветер тучи нахмурит,
с ним и я зашумлю.

Погляжу, поразмыслю
и сквозь прищур ресниц
вижу, слышу о Висле

песню в щебете птиц...

[20]

Деревья оборские, дубы и клёны,
разросшиеся так пышно,
хожу одиноко в тени зеленой,
слушаю – но ничего не слышно.

Только где-то собаки лают,
подчеркивая тишины глубину.
Июль. А могло бы так быть и в мае.
Тишина. И я слушаю тишину.

Я пойду и устрою из трав себе ложе
там, где вербы и тростники,
и тогда, быть может,
напишу стихи.

Уж теперь и сама тишина уснула,
не слышать и собачьего лая.
Не пытайся, чтоб жизнь моя с этой дороги свернула,
не ломай ее, дорогая.

[21]

Ах, думать с Ноаковским
о Польше большой, широкой,
о Возрождении польском,
о средневековье, о барокко...

Видишь наброски, планы,
и вдруг вырастают огромные,
великолепные здания —
залы, покои, приемные —

или людские жилища
для жильцов, еще не живущих...
Но время их разыщет,
и поэма архитектора будущего

станет нашей, как и ее автор,
себе изменить не смогший,
как Бейсцы, Сандомеж, Опатов,
Краков, Мазовше.

[23]

Пахнут липы, пахнет вода

речная.

Не бывать мне уже молодым никогда,
не плыть неведомым краем.

За каждым изгибом русла, за каждой ивой
туман, как дым:

– Гражданин рулевой, поверните, пока мы живы, —
я стану другим!

Буду я – как песок летучий,
как плеск волны:
одинокому – лучше
дальние дали видны!

Гражданин рулевой повернёт,
зашумит волна.

Что же – это и есть счастье твоё?
Как знать...

[23]

На раскачивающееся деревце
воробей норовит взмоститься,
раскачивается, примеривается
и наконец садится.

На колеблющиеся помыслы
капля печали осела,

дрожала, дрожала от робости
и наконец отвердела.

Я не дрожу при мысли о смерти —
все люди ее встречали, —
но я колеблюсь, колеблюсь, колеблюсь
перед приливом печали.

[25]

Вот мы ехали всё и ехали
с шофером Фальковским.
Он спросил: «Куда ж мы едем?» —
«В Польшу».

А Польша здесь же:
от самой Варшавы —
полей пшеничная свежесть
и слева и справа.

Висла... Висла...
во всех впечатленьях и мыслях,
Висла серая и голубая,
Висла добрая, Висла злая,
то разгневанна, то лукава.

Взгляни!

Цитадель!
Там умирали.
Варшава.

[26]

Если б всё старопольское
в рамку я вставил,
ни себя, ни отчизну
я бы тем не прославил.

Двухступенные крыши?
«Девять монастырей и редкие домики?»
Нет, мой голос, вздымайся выше:
слушайте, потомки!

На Святом кресте добывается камень,
а в Варшаве дома из железа...
Раньше их возводили руками,
ныне – краны под небо лезут,

хватают железной хваткой
и несут и растят массивы...
Опиши это сильно, и кратко,
и красиво.

Этот дом над Варшавой

дал Сталин.
Спасибо Сталину. Слава! Слава!
Слава стали!

[27]

О, эти апрельские облака,
небесная синева,
попробуй ее удержать в руках,
вечно она нова.

Возьми ее в руку, пани Моника,
как цветок, что уносит вода,
как все это течет – гляди, глядика —
в мир, в никуда.

[28]

У Збышка Турского два рояля,
два гроба, воскресающие из неми.
Он седеет, задумчивый, как изваянье,
«Сыграй!» – ему скажешь. Ответит: «Не время».

Я его растревожил Вислой,
а может быть, и стихами,

началось что-то близкое
между нами.

И пришлось протянуть к нему руки,
чтобы вытянуть из неврастения,
чтобы вызвать его на звуки,
показать, что мы не немые.

Как в потусторонней мазурке —
вперед! – с закрытыми глазами...
Мне близка твоя музыка, Збышек Турский,
временами.



За плетнями вербочки жмутся.
«Да войдите же вы, вербы, в калитку,
да отведайте же комариного напитокку —
вот росы полное блюдо,
будет вам пляска,
будет и сказка,
будет и крови чарка,
и я, ваша товарка —
ива сохатая, ведьма богатая».
Ну, а вербочки
всё жмутся, девочки...

* * *

Город, любимый мною,
ты строишь зданья,
о, как мягки весною
их очертанья...

Много нужно стараний,
но мы залепим
каждую твою рану
насущным хлебом,

его от себя отнимем,
о да! отнимем,
твоей красоты во имя,
во имя

того, что уже свершила,
что свершала
славы нашей вершина —
Варшава!

* * *

Выйду да гляну, как поле вспахано,
ни зимы не страшусь, ни ветров осенних.
И нету во мне никакого страха.
Ты ведь знаешь: я – не Есенин.

Страхи налево, страхи направо, —
но, – промозглый страх не приемля, —
он учинил над собою расправу
и удалился в темную землю.

Милая, я не боюсь ничего на свете,
твоею лишь скорой печалью маюсь...
А над полями – всё свищет ветер.
А над кровлею – белый аист.

* * *

Птицы кругом летают,
вьётся птичий рой,
спрашивают, окликают:
кто ты такой?

А я – птицам друг,
и любви, и песне,
мой стих родился не вдруг...
Может, оно уместней

и проще – совсем не писать,
а я? – ха! – пишу.
Вместо того чтоб сосцы суки-земли сосать,
кое-как, но дышу.

* * *

Ненавижу в новелле Сенкевича волка,
ненавижу жестокость дел;
промолчать кой о чем – больше толку.
Грустный удел.

Волки жену мою растерзали,
хуже, чем волки.
Тишину жестокие вихри взорвали,
ангелы умолкли.

Что с того, что умею стихи писать, —
не хочу ничего.
Ведь я должен, должен, должен
в сон любимые призраки пеленать.
А для чего?..

* * *

В глазах моих – сырость,
сердце – изнылось,
что мне до дальних далей?
Сбежал бы, тоскуя,
в чашу лесную
да помер бы от печали.

* * *

Бумага белая лучше
стихотворения скверного,
плохого стиха ничто не улучшит,
и дело первое:

не пиши без уменя, не трать силу попусту;
а во-вторых – не пиши, если нет повода,
и не волнуешься, и несет тебя попросту
всяческих пустяков вода;

брошен в нее ты – и выплывай.
Длиннее писать у меня нет повода.
Бывай!

* * *

Сросшийся с жизнью, как древо с листьями,
что же скажу ей?

Что сторониться, конечно, не стану
листочков жухлых.

Если деревья, то бишь поэты,
жить без листков не могут,
если дороги правильной нету,
выйду своей дорогой —

в поле, дорогой песчаной, не торной,
не для туристов:
стихотвореньям будет просторно
в жизни живой и чистой.

* * *

Евка – в веснушках нос!
Такой и у мамы тоже.
Похожа ли? Вопрос!
Ну, до чего похожа!

Я напишу о сосне,
зеленеющей у протоки,
и вспомнишь ты обо мне,
когда прочтешь эти строки.

Будут воды внизу тихи,
загорятся струи весенние...
Дед написал стихи —
под настроение.

Через стену

Письмо пишу из дали далекой,
из комнаты соседней,
из-за стены, где встречу с тревогой,
узнаю столько волнений.

Пишу через стену к тебе и думаю:
если б и гибель над миром нависла,
эти слова – холщовые, грубые, —
как из клише, я успел бы оттиснуть.

Все было: домик, и кот, и пёс,
и столько счастья всюду,
что нынче до боли хочется слёз,
без слёз – трудно.

Меня из этого дома когда-то
взяли насильно, сразу...
И этим стихом моим, всем его складом
я лишь тебе обязан.

* * *

Вторую ночь зеваю сам
и спать жене мешаю.
Да ну! – какой там сон к чертям:
июль, а пахнет маем.

Под синевой покос на склоне,
увяли стебельки.
Была погода благосклонна —
с твоей руки.

Красиво было? Определённо,
тут – правды проблески:
Велосипед в траве. Влюблённость.
И облако.

* * *

Стихи всё короче,
все меньше дней впереди...
Мой ветер юный, дни и ночи
гуди!

Я вспыхну мгновенной искрой,
если нужен кому этот дар.
Вей, мой ветер, шалый и быстрый,
несущий пожар.

Стихи не угаснут вовеки,
сколько б ни кануло дней,
но ты, но ты, мой ветер,
вей!

* * *

Пробудить в себе звуки Шопена
или Норвида с «Памятью Бема»,
и на миг – если только возможно —
повстречаться с твоим Утешителем скорым —
Адамовым Водным Простором,

чтобы в воды пролить серебристые
твои слезы – Лучистые, Чистые...
Ты об этом мечтаешь, художник?

* * *

Как это славно – глаза откроешь,
и сразу – целый мир пред тобой,
и ты его в радость уронишь,
и ты его оденешь в любовь.
Но золото может покрыться шлаком,
если ты закроешь глаза.
Радость? Она затянется мраком.
Любовь? Ее обольет слеза.
Так пусть же до полного ослепленья
будут открыты глаза твои:
на радость жизни, радость творенья —
на все, что достойно любви.

* * *

Он не был мне первым встречным,
я знал о нём многое: вроде
того, как штаны через плечи

стянуть и как жизнь проходит,

я знал: он, шутя, в апельсине
найти мог волшебное что-то —
и все мы – в пляс, до бессилья,
я знал, что шекспировский Ботгом,

с ослиной на час головою,
в горячей его и честной
душе уживался с героем,
что носит портрет принцессы.

Уберечь от забвенья мечтал он
весь мир и тебя, Наталья...
«До свиданья, мой друг, до свиданья»,
прочней ностальгия с годами.

* * *

Как мне нравятся эти березы —
бают, бают, навевают грезы.
Все они – кресты погибших наших,
наших лучших, рядом с нами павших.
О любви, о войне, о смерти
тихо шепчут мне березы эти.
Каждая из них прекрасней мая,

тихо шепчет, крону поднимая.

Поле

Тополя, тополя, тополя,
изрытые рвами поля,
отблеск далёких огней,
трупы гнедых коней,
бабы в платках клетчатых,
вербы застывшей прядь
и польские солдаты,
шедшие умирать.

Тишина

– Скажи, как зовут тебя?

– Тишина.

– Повтори, твоя речь не слышна.

– Тишина.

– Это ты в лесу ветвями хрустишь
весной?

О тебе соловей грустит,
пока травы ходят волной?

– Я – тишина, умолкни, гордец постылый.

Упрячу тебя в могилу.

Незрячий

- Покажи мне деревья.
- Не вижу.
- Где тут право, где лево?
- Не вижу.
- Где тут свет, а где тень?
- Не вижу.
- Скажи! Надо любить?
- Да. Вижу —
ясно как день.

* * *

Плывут облака надо мною
рядую белой,
плывут... Ну, а мне-то какое
дело?

Живое жить хочет. Я тоже
не исключенье.
Но чувствую, точит и гложет
и с каждым мгновеньем

подбирается к горлу всё ближе,
алчная, злая.

Я лапы костлявые вижу,
изнемогая.

Но нет! Не оборвана лента —
я жив. И покуда
не создал из смерти легенды,
жить буду.

* * *

Просыпаюсь рано очень,
чувство времени теряю,
месяцу шепчу «спокойной ночи»,
видимо, хвораю,
видимо, какой-то тяжкой хворью
(и уже без пьянства),
словно сам с собою спорю,
мыслей постоянство
я утратил, но когда
за окном темно,
думаю: всегда
поэзия со мной.

* * *

Ванде Вилкомирской

Стоит ли струны мучать,
если молчание – лучше,
если сути молчанья
никто не постиг,
если против молчанья —
только крик?!
Нет! И против молчанья
кое-что есть!
Скрипки твоей звучанье,
мой жест.

Дуб

Я иду, и на ходу меня шатает.
Жизнь с меня, как лист осенний, облетает.
Что за лист? Дубовый ли, кленовый?
Все равно не вырастает новый.

Что ж? Любви немного было,
было и добро и зло,
много гнева, нежности и пыла —

всё прошло.

Листья, листья рвутся, и на каждом —
имя! Имя – на любом листке.
Назови торжественно и важно
имена родные те.

Нет! Осенний ветер
снова принимается качать
цепкие, нагие ветви.
Больше мне счастливым не бывать.

Голый ствол один белеет,
а над ним – метели белый клуб.
Ну так что ж! Смелее!
Это я – тот дуб.

18 X 1961

Плакат

И сбежали вётлы вниз по бугорочку,
а там берег обрывист —
выстроились ветлы в цепочку,
склонились.

Гей! Край родимый!

И пошли себе рядами ветлы
песочком белесым.
Может, песня старая зовет их
к лесу?

Гей! Край родимый!

Нет, полями мазовецкими, куявскими
идут-поспевают,
чтобы некий музыкант варшавский
воспевал их.

Гей! Край родимый!

А в конце пути, в дальней дали,
запоют, как умеют, зальются,
может быть, иногда рассмеются
или листья зашепчут в печали?

Гей, листья усыпали берег.
Гей, Фридерик...

21 XI 1961

Роды

Роды? Что ж! Крутило, ломало
женское тело сначала.

Из него понемногу, помалу,
выходило что-то, кричало.

Спеленают, сядут около,
школьный ранец дадут,
и тогда слетятся соколы,
духи придут.

Согнется над Мицкевичем,
Словацкого обоготворит.
«А я – ничто. Мне – не о чем!»
Это он говорит.

Потом подрастет, полюбит,
стихи напишет про то,
не о Марыле, не о Людвике:
«За что любить... Я – ничто».

И тогда звезда повиснет
над его головой
и поэзией брызнет,
словно водой ключевой.

Эти роды – болезненной дело,
чем ребенку родиться.
Я утверждаю все более смело,
что всегда могу омолодиться.

Адам

Слиться хочу с тишиною —
колоколом, что замолк.
Все, что сделано мною,
Он давно превозмог.

Не люблю Марыли
(сколько их было, страсть!),
с Ним давно разделили
эту страсть.

Не верю, что умер Ордон —
историки лгут.
Ни я, ни Он
не признаём их суд.

В «дзядов» и духов не верю,
в чары, в ночные заклатья.
Хоть по ним я мерю
мерки мои и понятия.

Эй! Поля, в хлеба разряженные,
мы вам верны,
и с винтовкой, уже не заряженной,
умрем у стерни.

14 XI 1961

Против бешенства





Дребезг окон, стен трясенье...
Эта буря как накатит!
Что ж мне надо для спасенья?
Разве – до утра – заклиний.

Чары-мары... тьфу ты, ими
кто нас нынче обморочит?
Да упырь вот в домовине
с чердака слезать не хочет!

За окошком чьи-то морды
мерзкие гримасы строят.
Как, рассвет, еще не скор ты —
кто-то мне глаза закроет?

От бессонницы те страсти,
как и горсть стихотворений...
А во тьме, куда попасть мне, —
дребезг окон, стен трясенье.

Эта буря мчит от Вислы,
тополя сгибая круто:
как не знать ее мне свиста!
Будет – грусть. Седое утро.

Но подвигнусь вновь на труд я —
сочиню стихи иные,
в них зазолотеет утро...
Чары – вздор. Молчи, стихия!

На Жолибоже

Густы на Жолибоже тополя,
но небо мне милей над Жолибожем,
особенно в дни ноября, когда
слой серой краски на лазурь положен.
Когда я полюбил, такое ж небо было.
Как мило...

Тишь-тишью

Я по Освенциму плачу
и по тебе, Мария.
Звалась ты Мария, может, иначе.
Умерли дни былые.
Хожу-брожу, бестолковый покойник,
еле таскаю ноги.
Вспомнит ли кто обо мне с тоскою?
Что я встречу? Смерть на дороге.
Еще похожу-поброжу, быть может,

рука моя стих напишет.
В землю потом положат,
тишь-тишью.

Воспоминание о 1931 годе

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Знакомая формулировка.
Я и каменщик – мы в тюрьге.
У нас голодовка.

Этот сырой каземат
и жалкая корка хлеба,
неужели они для нас —
окно в небо?

Окно будет распахнуто
кувалдой, пером, мастерком,
хлебное поле – вспахано
честным трудом.

Мы выйдем на волю с тем каменщиком,
хлеб заработать чтоб.
А если кому не нравится —
в лоб!

Эстетика

Будь я поэтом-эстетом (как кому-то на ум взбрело),
слагал бы вирши эстетские (себе же назло),
но лучше б я нанялся маляром,
выводил лица покойных,
а после – головой в ведро
с краской: вот смерть достойная...

Стихотворение

Она спит,
я пишу свой стих,
мое сердце болит,
мир тревожно затих,
дом объят тишиной,
страх навис надо мной,
страх видений ночных,
и пишу я свой стих.

Не сплю, бужу тебя, берусь за папиросу:
будильник на столе, хлеб, пара желтых хризантем;
кричит ноябрьский ветер, как хор многоголосый,
и, словно искривленное полено,
я нем,

с кривой улыбкою на мир смотрю...
Спи, моя нежность неизменна,
но я не сплю.

Отними папиросу, склонись надо мной
и погладь мои волосы нежной рукой,
прикажи мне тебя, как дитя, укачать,
научи, как стихи писать.

Если нет, то путем безнадежным
за Мокотовым, за Жолибожем
вдаль уйду неизвестным прохожим,
поплетусь, где-то камень найду —
головой на него упаду.

Счастье

Величайшее счастье —
всегда только часть его.

Прекраснейшая из поэм —
та, которой нет совсем.

Прекраснейшая из дам —
где-то там...
где-то там...

На рассвете

На рассвете многие —
только держись —
всю жизнь начинают новую жизнь.

Вот он, герой, – тут как тут
– уже и одет и обут.

Едва натянул портки
– готов наперегонки.

А новой жизни как не было, так и нет.
Эх, люди, люди!!! И почему на всё у вас
только один ответ
дранные портки да дранные башмаки?..

Ув. гр. пр.

– Уважаемый гражданин приказчик,
есть у вас бумага? Продайте стопку.
– Обождите, мальчишка сейчас притащит,
он пошел за товаром в подсобку.
– Ув. гр. пр., мне ужасно некогда,
времени – просто в обрез,

если ваш мальчик замешкается,
я отправлюсь в лес.
Куплю себе стопку листов шелестящих
в березовой роще, в кленовой чаще,
а если и там не сыщу ни листочка —
повешусь, и точка.

* * *

Там, напротив, железо куют.
Ничего.
Телефон звонит поминутно.
Ничего.
В дверь звонят.
Ничего.
Машины рычат.
Ничего.
Я всё это перекричу
молчаньем,
ненаписанным стихотвореньем,
тенью своей печальной.

* * *

Ничего со мной не стряется,
коль хлеба кусок найдется.

Хлеб?

Само собой:

в дом приходит хлеб трудовой.
Не то сгинуть придется,
коль хлеба куска не найдется!

Хлеб? – само собой.

Автомат... тут вопрос другой.
Хлеб насущный? – само собой:
чтоб за жизнь —
в ежедневный
бой.

Песня польских рабочих

Средь фабрик и заводов
та песня родилась.
Нас долго мучил голод,
годами кровь лилась.

Сегодня нас миллионы,
мы строим Общий Дом,
мы красные знамена
мечты своей несем.

Мы сметаем порядки
государства господ —
это в классовой схватке
побеждает народ!

Огни социализма
рассеивают мрак,
на зов родной Отчизны
в бою равняем шаг.

Сегодня Польша встала
в обличье трудовом —
насилье капитала
с родной земли сотрем!

Мы сметаем порядки
государства господ —
это в классовой схватке
побеждает народ!

Раздавим сапогами
фашистский черный сброд!
Страна Советов с нами
как добрый друг живет.

И с городом воскреснут
руины деревень.
Мы первомайской песней

встречаем новый день.

Мы сметаем порядки
государства господ —
это в классовой схватке
побеждает народ!

Воспоминание

Моя мама была знакома с врачом по фамилии
Перкаль,
моя мама питала к нему симпатию и уважение,
доктор Перкаль был достоин уважения моей мамы,
в нашем доме не было антисемитизма.

Мои друзья евреи сражались в Войске Польском,
мои друзья евреи погибали за Польшу,
моим друзьям – миллионам моих друзей! —
поставили памятник в гетто.

Какой Гомеров гекзаметр воспел бы такую смерть?
С ней не сравнится даже истерзанный труп
Патрокла.
О! не Илиада – Аид... Больше, чем Голгофа, —
Освенцим...
Вот основание памятника в варшавском гетто.

Мир, мир умершим. Не мир, а борьба – живым,
борьба за имя людское для каждого, кто человеком
зовётся...

Моя мама была знакома с врачом по фамилии
Перкаль,
который был благородным человеком.

* * *

Мысли мелькают белками в парке —
глядишь, устанут...

Тянется день, а суровые парки
тянуть не станут.

Жизнь коротать за чаркой – не дело,
топай по тропам!

Только моя-то жизнь пролетела,
словно галопом.

Родина-матушка, тюрьмы да войны,
книжки, журналы, —

нет, не могу помереть спокойно:
мало мне, мало!

Эх, написал бы я пасквиль на Бога —
Бог не отпишет.

Ванда, мой свет, написал бы так много —
да кто услышит?

Кто мне поверит, что май приходит
осенью зябкой,
что жить охота – аж пальцы сводит?!.
(Дочка, писал твой папка.)

* * *

В пьяной башке, наконец, ясно,
пьяные звезды скоро погаснут,
встанет рассвет бельмом на глазу слепого,
радио загремит на весь мир – и давай трещать
(по радио, конечно, гуралю в керпцах слово,
а может, ещё какое важное дело,
может, Трумэн какой-нибудь или Бевин),
ну и пусть себе верещит на свет целый.
Зачем?
Откуда мне знать.

Решил я (вместе с моей душой) – нынче май,
так пускай... будет сирень и каштанов свечи,
и чтоб тишина стояла,
и небо было залито синевой,
и снова был я влюблен бесконечно.

Да так и есть!
Ванда, любимая,
Радио пусть катится...
а любовь не остынет.

* * *

Знаю, Пушкин страдал от царя.
Да что там. Знаю давно:
слова его, как алмазы, горят
каждым каратом. Но

всё-таки он в тех антишамбрах³⁰
съёживался чутьчуть,
когда вокруг ошивалась шантра
па. Кто? Не в этом суть.

Обнявшись, будь я на сто лет моложе,
я бы плакал с ним от тоски.
Факт: я хандрю и мучаюсь тоже —
от Вислы и до Оки.

Поляк и русский, мы оба люди,
но одного не осилю:

³⁰ От *фр.* antichambre – прихожая.

это было и это будет —
«Клеветникам России».

Счастье

Мое добро – кусок карандаша,
которым я пишу.
Что ждет меня? – поселится душа
в тиши, покинет шум.

А гром в тиши? – история зовет —
зовет из дома в путь.
И будущее говорит: «Вперед!»,
а прошлое: «Забудь!»

Живу я так же, как живет народ,
обычный польский люд.
Идти за смертью? – радостный поход.
Идти за счастьем? – труд.

Мое несчастье? – не Освенцим, нет
(его во всем виним):
я счастье, что дано в награду мне,
раздал другим.

Против бешенства

Прежде:

космы до плеч

и – «Муза, явись к поэту!...»

А я

включаю приемник,

развертываю газету.

Корабль

в Средиземное море

бурливую пену тянет.

Грозящим тебе и мне

оружием он нагружен.

Но стачка была в Тулузе,

и в Лондоне стачка грядет.

Спокоен строй коммунистов

в мужественном содружье.

Китай?

Что о нём

мы знали, кроме:

тончайший фарфор,

и чай,

и даль, да еще какая!

А нынче?

Радость

в каждом доме

у Желтой реки Китая.

Статуя Свободы.

Есть?

Есть.

А Трумэн

скрипит зубами:

«Франции

как бы

еще подвезть

оружье

для войны во Вьетнаме?»

Мы возводим город,

закладываем сад,

завод поднимаем

с песней веселой.

Но мы сумеем сказать

«назад!»

бешенству форрестолов.

Не позволим

банде разбойной

разразиться

атомной бойней!

Советский Союз

поворачивает реки,

там радость и труд

свободны навеки.

Там сила и братство

всего человеческого!
Мне есть что сказать,
а Трумэнам – нечего.

Стихи к умершей матери

Мама!
Я жив, работаю,
и можешь быть уверена:
мое сердце —
Твое по крови —
не из дерева.

Мама!
Я стал поэтом
(лучше, чем большинство),
пишу и думаю: «не то!» —
поэтому опереться бы —
но на кого?

Мама!
Я «делаю то, что делаю»,
как ты учила и понять помогла,
ношу в себе – целое:
то, что ты мне дала.

* * *

Каб лишился чёрт рогов,
вера б ослабела,
онемел костёлов зов —
нет до чёрта дела.

Поскакал бы черт, как он умел —
галопом, галопом.
Поскакал бы черт к одной куме
настоящим чертом.

А та кума —
ведьма сама —
сказала бы гордо:
«Пошел ты, черт, к черту!»

По следам Вийона

Интеллигент Франсуа Вийон
шел себе как-то в подпитии:
то ли он был (ради рифмы) влюблен,
то ль отметил какое событие...

Шел он себе пятнадцатым веком,
как я гуляю полем и лесом,
и в народе слыл неплохим человеком,
и умер, как подобает повесам.

А был он казнен, ибо вор и смутьян —
или просто в Лету плюхнулся летом?
Отвечаю с трудом (потому что пьян):
он был настоящим поэтом.

Сумерки

Что ж это в памяти так засело?
Какой незапамятный год?
Время сумерек, бедных и серых:
комнатушка, камин, комод...
Тик-так, тик-так... – шаги подступающей ночи.
И голос – любимый самый:
– Ты не поужинал, мой сыночек?
– Нет, не поужинал, мама...
Может быть, мне в чем-то откажут
или за что-то накажут...
Часы и годы бегут...
Но вернуть бы от прежнего часа,
от этого серого часа —
хотя бы тридцать минут.

Клятва молодёжи

Клянемся все тебе, Отчизна,
в дни благородного труда:
построим мы для новой жизни
заводы, штольни, города!

В руках кирка, и молот, и лом...
Построим мы вольный наш дом!

Друзья! Бездействовать не будем!
Зовёт нас к подвигам земля,
и, покорясь свободным людям,
машины вышли на поля.

И пусть комбайн помочь идет
великому плану работ!

Мы дружно сеем, жнем и пашем,
еще упорней, чем вчера...
Дымите, трубы фабрик наших!
Вздымайся, уголь, на-гора!

Народ свободный, получай
трудов великих урожай!

В Балтийском море – пароходы,

суда по Одру плывут...
Мы охраняем край свободы,
мы охраняем вольный труд.

К боям готов, на страже стой,
неутомимый часовой!

Несется белый голубь мира,
к социализму – путь в борьбе!
Любить тебя все глубже, шире,
клянемся, Родина, тебе!

На счастье трудовой земли
мы эту клятву принесли!

Американцам

Памяти Этель и Юлиуса Розенбергов

Позади кровавая расправа.
Линч во имя верховенства права.

Торжество тюремного закона
над могилой бедных заключённых.

Что же? Разве Эдисон придумал
схему электрического стула?

Разве сердце Линкольна народу
пожелать могло бы несвободы?

Разве Уитмен черпал вдохновенье
в том, что совесть предана забвенью?

Нет и нет! Не братья Вашингтона
обрастали жиром миллионов.

Не достойна Твена или Фаста
эта обесчещенная каста:

по её вине поля горели,
на позор истории, в Корее,

как в издѣвку, всякий раз торговля
нефтью оборачивалась кровью.

Не народ свои авиабазы
разбросал по миру как заразу.

Но на месте подлости безликой
новая Америка возникнет,

и не будет уголка на карте
мира для разбойников Маккарти,

на глазах трудящегося класса

возродится единенья раса

благородных новых поколений,
словно тех двоих казнённых тени.

* * *

Я б хотел, чтоб звезда ранняя
сыграла мне ораторию,
чтоб небесной музыки манна

кормила меня – историей.
Стихи не обязаны быть логичны,
они должны быть прекрасны...
Давайте поплачем, похнычем,
можно и постонать нам.

Я хочу петь, петь, петь —
всего себя вопреки соловьям
раздать,
ни дать, ни не дать не уметь —
плыть в никуда.

* * *

Я не ведал, что радость рядом —
тронуть рукою,
я не знал, что довольно взгляда —
прекрасное предо мною,

что внезапно так может случиться:
вспышка молнии —
и ничего не надо, пусть длится
жизнь, чудесами полная,

что смогу влюбиться так страстно,
хоть на излёте жизнь,
и что может всё оборваться —
вспышкой молнии, прыгнувшей ввысь.

* * *

Кабы я был луной,
расстался бы с жизнью хмельной,
светил бы постоянно —
и трезвым, и пьяным,
пьяным — во всю силу,

трезвым – вполсветила.

* * *

Говорят, что звоню я нередко
в неподходящую пору.
Ну, а если моя соседка —
смерть? А что, если скоро?

Груз этих дней бесконечных
сбросить бы можно было...
Так нет же! И день изувечен,
и все, что видишь, не мило.

Окно бы открыть? Не нужно,
не стоит и не поможет...
Крик пьяниц... Голос недужный...
Ничто не поможет... А все же?

И снова бегу к телефону,
прошу любви и прощенья.
Не хочу утонуть я, как тонут
потерпевшие кораблекрушенья.

Цветов увядшая гряда.
Одиночество. Иней на стёклах.

Дорогая! Я больше не буду...
Скажи, что любовь не поплёкла.

* * *

Дохнуло! Повеяло!
Снова штора? Обманка?
Неужели ещё слишком мало?
Ты... Анка?

Знаю, это сентябрь, месяц жестокий,
когда гаснут цветы и кусты, затихает звон
последних подсолнухов
и от меня убегает сон.

Знаю, знаю, тот ветер —
моя бездомность;
вихрь пронесется по свету —
обо мне и не вспомнят.

Стихии Кантата

Чего теперь он хочет от меня,
мир, что тонул во мраке век от века,
что хочет он сегодня от огня
неустрасимой жизни человека?

Хор I (мужской)

Над миром прочной власти мы хотим.
И тут ничем не можем поступиться.
Пусть атом всем могуществом своим
раздвинет мира нашего границы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.